

В Борис
Изюмский
поисках
доли



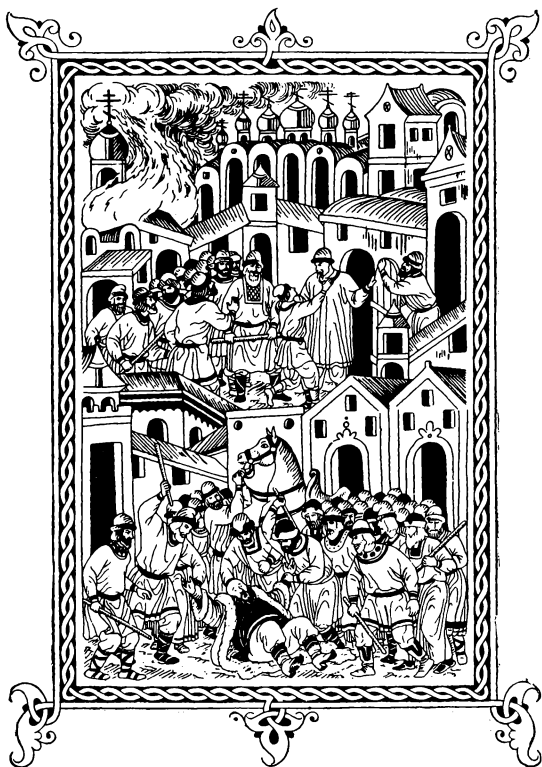
Издательство „Детская литература“

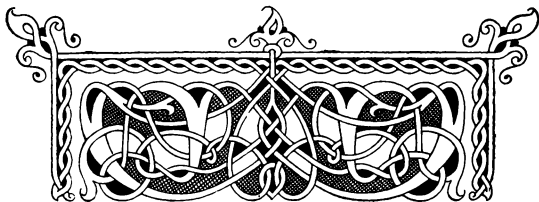
Цена ~~39~~ коп.



Москва
„Детская
литература“
1973







Борис
Изюмский

В поисках доли

Повесть



Писатель Борис Васильевич Изюмский известен школьным читателям своими книгами «Алые погоны», «Девичья гора», «Ханский ярлык».

На этот раз писателя заинтересовала история Руси XII века, времена княжения Владимира Мономаха.

В повести, которую вы держите в своих руках, главный герой бедный человек Евсей Бовкун.

Он организовал смелый поход в Крым, через половецкие степи, чтобы привезти киевлянам драгоценную соль.

Множество опасностей преодолевают Бовкун и его спутники. Но возвращение в Киев приносит им новые беды.

Евсей с детьми бежит от боярской неволи на Дон, а затем в город Тмутаракань, огромный порт тех времен, населенный многими народами. Но и здесь героев книги подстерегают новые испытания, несчастья, которые все же так и не смогли их сломить.

Рисунки Л. Фалина

И $\frac{0763-565}{101(03)73}$ 461-73

© Иллюстрации,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1973 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СОЛЯНОЙ ШЛЯХ







ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ



всей пересек Бабин Торжок, миновал бронзовые женские фигуры на площади, четырех медных коней, привезенных в Киев из Корсуня еще князем Владимиром, и поднялся на холм.

Шел Евсей к тысяцкому¹ Путяте как на казнь. Люто ненавидел этого говорливого живодера, а поневоле шел к нему.

Желваки забегали на скулах широкого красноватого лица Евсея. Он нервно пощипал пшеничные усы. Что поделаешь — надо идти. Ведь недавно был почти свободным — смердом, а стал кабальным — закупом.

Еще пять лет назад, когда жил возле Ирпеня, высохли сенокосы, издохли волы и взял он у боярина Путяты взаймы, купу — обещал ее отработать. Да разжился, как сорока на козе или тень на воде... И долг-то возвратить в срок не смог. Выходит, свои сухари лучше чужих пирогов, на душе покойней.

Беды шли одна за другой: спекла землю засуха, сделала ее каменной, поела хлеба и сады саранча. Она появилась как божий бич: заслонила тучей солнце, упала на землю. За два часа сожрала до корня жалкие посевы, прошла через избы, забивая людям и животным рты, уши... С отвратительным шуршанием

¹ Тысяцкий — глава городского ополчения, городской судья.

тыкалась в глаза... Раздавленная колесами, подошвами, копытами, источала тошнотворный запах.

Потом людей стали одолевать хвори: от плохой еды губил гнилец — поднимался жар, чернели десны, выпадали зубы, опухали колени, ноги покрывались ранами...

Беды шли, а долг — купу — никто не снимал. Сначала Евсей работал за купу на пашне Путяты, у самого ж всей рогатой скотины — вилы да грабли... Служил три лета, а выслужил три репы. Только что жив был, да жилы порвал. Потом Путята его в свой киевский двор взял плотником, возчиком... Но по всему видно: дальше так пойдет — продаст его Путята в холопы, а то начнет по своей прихоти кнутьем стегать.

Евсей не спал ночами, все думал, думал: как вырваться из кабалы? Как не утратить остатки воли? Как спасти детей от голодной смерти?

...Он постоял над обрывом, под могучим дубом. Отсюда ясно видны были поемные луговые дали, Глубочица, впадающая в Почайну, река Киянка, Лысая гора, берег Днепра, где в водах резвились в этот час сизые уточки.

Больше жизни любил Евсей Киевщину: Девичью гору и село Предславино на реке Лыбеди, речку Любку, над которой издревле стояло сельцо Багриново, окруженное вековыми липами, любил озеро, протянувшееся к Выдубицкому монастырю, заросли черноклена, кудрявые вербы, вон ту березку, что прячется в темном ельнике пугливой беглянкой.

«Родной дом, а живешь как в неволе, — тяжело вздохнул Евсей. — Пока сюда дошел, сколько нищих встретил».

Прочертила небо вилхвостая ласточка.

Евсей миновал площадь и очутился на конском ристалище, где занимались воинским делом дружинники Путяты.

Зачем шел он к тысяцкому? Ведь за соломинку хватался. Мыслимое ли дело надумал: съездить наймитом с путятинским обозом в Крым за солью.

Киев изнемогал от бессолья.

Соль скупили бояре Савва Мордатый и Нежата, продавали по непомерной цене, и стала она дороже золота. Ее припрята-

вали монастырские наживалы. Из-за щепотки соли гнул спину неделями люд.

А без соли, каждому ясно, — стол кривой, беседа худая, сама жизнь солона.

Ехать в дальний Крым — риск великий. Но Евсей знал тот край, его дороги и надеялся проскочить где хитростью, где с оружием. Привезет соль — избавится от кабалы. Только отвагой и перейдешь горе. Да и людям соль надобна как воздух, как солнце.

Возле Софийского собора распластался митрополичий двор, а вплотную к нему придвинулся двор Путяты.

Евсей поднялся по ступеням боярских хором. Стражник впустил его в гридню.

— А-а... Евсей! С чем пришел? — встретил его тысяцкий наигранно-приветливо.

Был Путята коренаст, широкогруд, кривовато ставил крепкие ноги. Вмятина на лбу у виска, багровый сабельный след от уха и вниз не уродовали Путяту, а придавали его лицу мужественность. У князя Святополка тысяцкий был в большой чести, как опытный воин, не однажды проявивший себя на ратном поле.

Сам же Путята тайно презирал князя, считая себя воинем лучше, умелее его, однако внешне ничем не показывал это.

Увидя покладистого, трудолюбивого закупа Евсея, Путята заговорил с ним о своих дворовых заботах. Говорил громко, быстро, распахнув полотняный кафтан. Лицо его словно бы лишилось глаз, все загородили полные губы.

Будто спохватившись, спросил:

— Как чада, Евсей?

Заиграл притворно ямочкой на щеке скуластого лица. Услышав о желании Евсея привезти соль издалека, Путята сразу умолк, настороженно уставился на незваного наймита. Поковыряв ухо медной ухверткой, сказал сожалея:

— Да ведь через кочевье не пробьешься, лихая голова... Во-

лов погубишь... Ай-яй-яй...— Посмотрел с отеческой озабоченностью.

— Пробьюсь,— поднял на Путятю суровые глаза Евсей.— Вozy соли привезу...

Путята, остро взглянув на этого еще совсем нестарого, смекалистого и бесстрашного человека, вдруг вспомнил, как в прошлую осень Евсей один заносил задок груженого воза, застрявшего в рытвине. Вспомнил и решил: «Такой может и привезти».

Соблазн получить сразу несколько мажар¹ с солью был столь велик, что Путята даже зажмурился, и широкий нос его, казалось, еще больше приплюснулся, почти дотянулся до губ.

— Время надо...— сказал он раздумчиво.

«Может, рискнуть? Даже если половина люда и волов не вернутся, я и то в прибыли останусь. А с наймитов урои взыщу».

— Обмыслю... Чтоб тебе ж лучше было... Приходи завтра. Сам знаешь — добрый я человек...

«Такой добрый — гроб тебе купил бы»,— подумал Евсей и отправился домой.

БРАТ И СЕСТРА

Июль — макушка лета, пора цветения лип. В липень месяц тучи находят в себе силы пойти против ветра, певчие птицы от жары умолкают. Вот и сейчас медленно ползут облака над днепровскими кручами, над выгоревшим от солнца ярмом, над притихшими Ивашкой и Анной. Они утомились от беготни и лежат в яру на спине, уставившись в небо.

У двенадцатилетнего загорелого крепыша Ивашки глаза круглые, темно-карие, с живым блеском каштана; у сестры его,

¹ М а ж а р а — воз.

Анны, глаза продолговатого, заячьего разреза, тоже карие, только немного посветлее. Она годом младше брата, но рядом с ним выглядит совсем маленькой.

Каждый думает о своем. Ивашка — о змее из пузыря и холстины, что смастерил вчера и будет запускать в небо... О пещерах по-над берегом Днепра. В иных из них живут отшельники, в других, рассказывают, хранят клады разбойники.

Анна же вспоминает, как собирала недавно клей с десяти вишневых деревьев, чтобы — слыхала такое поверье — избу от пожара уберечь.

— Глянь-ка, Аннусь, мажа! — нарушил молчание Ивашка, глазами показывая на облако, действительно схожее с возом, который тянут волю.

Девочка повернулась на бок, подперла голову рукой.

— И впрямь!

Волосы у нее невьющиеся, в тонкую косу вплетена лента-строчка. Анна запустила маленькую руку в матерчатый мешочек у пояса, достала орешек. Звонко щелкнула скорлупа. С двумя ядрышками — к счастью! Одно ядрышко она проворным движением руки всунула брату в рот. Ивашка только шмыгнул от удовольствия носом-репкой, сел — и сразу из-за пригорка показались длинный дубовый мост, извилистая дорога, взбирающаяся вверх по крутизне, золотые луковки Киево-Печерского монастыря.

— Братик, — тоже села Анна, — ты наговор от занозы знаешь?

— От занозы? — недоверчиво поглядел Ивашка из-под выгоревших бровей.

— От нее, — кивнула Анна и зачастила звонкой скороговоркой: — Пресвятая, благодатная... с усердием прошу тебя... возьми в помощь, чтоб колючка не стояла, алой крови не пивала, белого тела не стегала... Изойди на черны луга, где буйный ветер свистит...

Ивашка усмехнулся!

— Враки это!

Девочка всплеснула руками.

— Чтоб я не жила, правда! Чтоб солнце не видела! Может, скажешь, и скот расколдовать нельзя?

— А то можно?!

— Можно! Взять тертого рогу от мертвого вола, тертого конского копыта, сушеную щучью печенку и окуривать скотину по три утра до восхождения солнца.

— Батя сказал: враки это! — упорно повторил Ивашка.

Анна умолкла. Словно оправдываясь, пояснила неуверенно:

— Бабка на торгу верещала...

Усатая знахарка заговаривала зубную скорбь, обрызгивала от недоброго глаза, сговаривала бельма. Как же ей не верить? А с другой стороны, отец больше всех знает. Значит, знахарка обманывала?

Они снова легли на спину, и каждый опять стал думать о своем. Ивашка — о том, как тонул на Днепре, да сосед Анфим его спас. После этого Ивашка долго боялся глубины, а потом все же пересилил себя, и страх сняло. Позавчера играли в киевлян и печенегов, и он выбрался из печенежского полона, заплыв на песчаную отмель острова.

Анна же почему-то вспомнила, как сидели они недавно на высоком клене, и она, подзадоривая брата, спросила: «Сига-нешь?» Ивашка тогда улыбнулся точь-в-точь как отец, краешками губ. Сказал: «Не к чему».

И она поняла — не от трусости то, а впрямь пустое предложила. Ведь не побоялся броситься на клыкастую собаку, когда та гналась за ней.

Анна посмотрела вниз: Днепр отливал недвижной синевой, по-над берегом охотился за рыбой коршун. Словно ойкнула кукушка в лесу и враз умолкла — не иначе подавилась лепешкой. Кружили на опушке стрекозы. Крикнуть бы сейчас: «Тятенька Евсей!», а лес на той стороне ответил бы: «Та... ты... сей!» Или бросить камень-плоскун и посчитать, сколько раз скользнет он по Днепру, а сосчитав, крикнуть: «Пять жёнок на тот берег перевезла!» И эхо опять ответило бы: «Бере... зла...»

— Пошли раков ловить? — поднялся на ноги Ивашка.

Анна словно только и ждала этого — мгновенно перевязала бечевкой ниже детских пухлых коленок юбочку, легла на бок, руки прижала к туловищу и покатила к берегу.

Под ракитой припрятал Ивашка дохлую лягушку. Сейчас он откопал ее, перетянул крепкой ниткой, и они, зайдя по колено в реку, стали опускать приманку в воду, таскать зеленых раков, вцепившихся в дохлятину.

— Раков много — рыбе ловиться, — степенно заметил Ивашка.

— Ишь уродины! — безгласно покосилась на добычу Анна, и вдруг глаза ее сделались испуганными: — Ой, ой!

Она подняла из воды левую ногу. В пятку ей вцепился клешнями здоровенный рак, устрашающе пялил глаза.

Ивашка ловким движением пальцев заставил рака отвалиться от пятки, бросил его наземь. Взяв на руки сестру, отнес ее на берег.

— Узнала, как раки кашляют! — Добрые впадинки в уголках его рта углубились.

Анна улыбнулась, при этом от маленького носа ее по щекам и вниз к губам пошли смешные морщинки. Тонким голоском сказала:

— Сущий упырь! Перепугалась я.

У Ивашки заискрились глаза.

— Больно пужливая!

А сестра уже смеялась, вспоминая свои страхи:

— Вдруг кой-то — цап! Ну, думаю, водяной...

Она залилась еще пуще прежнего, даже стала икать от смеха:

— Верно говорю... ик! Вроде б тянет кто под воду... ик!

Брат снисходительно слушал, потом, неторопливо собрав добычу в рубаху, сказал:

— Потекли до избы. Батяня скоро вернется.

СОСЕДИ

Полуземлянка Евсея, с двускатной крышей под соломой и мхом, прилепилась в углу Подола, на спаде днепровской кручи.

Прямо со двора, к вербам у реки, ведут вырубленные в земле сорок семь ступенек. По одну и по другую их сторону тянется невысокий плетень, и тот, кто спускается к Днепру, словно бы проходит длинными сениями, а кто поднимается снизу — открывает во двор жердяные воротца.

Ивашка с Анной вошли в эти воротца. Пес Серко, положив патлатую морду на лапы в репьях, дремал под вишней.

Желтыми комочками подкатывались под плетень цыплята соседа, гранильщика Анфима; его изба виднелась по ту сторону плетня, за грудой заготовленного на топку кизяка.

Ивашка подошел к колодезному срубу под рябиной, опустил скрипучий журавель-потяг и, достав бадью холодной воды, жадно прильнул к ней.

Отец так выкопал колодец, что половина его выступала со двора на улицу — пользуйся кто хочет! И камень-скамью поставил возле плетня — садись, отдыхай кто хочет!

Сейчас со стороны улицы о плетень, с нанизанными для сушки горшками, терся боров.

— Геть! — отогнал его Ивашка и вместе с сестрой вошел в избу.

Приятно холодил босые ноги пол, мазанный глиной.

Из крохотного оконца над варистой печью в левом заднем углу проникал тусклый свет.

Обычно под этим оконцем сидела их мать Борислава.

Рослая, бесстрашная женщина, она умела стрелять из лука, ловко скакать на коне. Люди сказывали, что, полюбив безоглядно их отца Евсея, она сама, еще до свадьбы, покрыла бабьим платком свои волосы. Анне было шесть лет, когда мать на ее глазах зарубили половцы.

...Девочка обвела избу придирчивым взглядом хозяйки: выскоблен ли стол; висят ли на жердке над печью вязанки лука, а

левее, под сухими васильками и желтой засушенной гвоздикой,— одежда; выстроены ли чашки, миски на резной полке; напештались ли в углу веник с кочергой; наполнен ли водой широкий кувшин, прикрытый дощечкой?

Все как надо. Теплилась лампада перед иконой, и едва уловимый запах конопляного масла примешивался к запаху глины.

Ивашка, присев на лавку, виновато поглядел на сестру:

— В животе червяк точит...

— Ты погоди, Ивасик, малость, я щи сварю. Мигом. Только без соли... Иссолились мы...

Ивашка добро поглядел в спину сестренке: «Недаром юнцы на улице дразнят ее: «Наша Анна белобрива щец да каши наварила...» Эта наварит. Надобно пока нащепать ей лучин...»

Евсей подходил к своему двору, когда его окликнул Анфим:

— Добридень, сосед!

— Хлеб да соль!

— Заходи в гости.

Евсей приблизился к Анфиму, сжав его огромную ручищу, спросил:

— Как живешь?

— А так себе — то боком, то скоком.

— А я в ярме у лиха. Бос, как пес.

— Э, ничего,— беспечно махнул рукой Анфим.— Что будет, то будет, мы все перебудем.

— Не скажи.

— Заходи в избу, ковшик варенухи¹ опорожним.

— Да вроде б ни к чему,— заколебался Евсей.

— Как — ни к чему? По соседству. Старцы костылями менялись — и то...

Евсей весело рассмеялся, и лицо его сразу утратило суровость, стало простодушным.

— Разве што...

Анфиму лет под тридцать, но уже славился он на Подоле как отменный мастер-гранильщик. Никто лучше его не умел шлифовать самоцветы, вызывать их чудесную игру.

¹ В а р е н у х а — настой из груши.

Жил Анфим с женой Марьей и своими дочерьми-тройняшками в избе на виду у Днепра. И когда бы кто ни проходил мимо их жилья, неизменно слышал, как в два голоса пели муж и жена песни о яворе над водой, о вечерней заре, о том, как «из-за горы, из-за кручи возы скрипят идучи».

«Расщebetались Птахи», — говорили, улыбаясь, прохожие, прислушиваясь, как ладно ведут голоса; так все их Птахами и называли.

Удивительно похожи были друг на друга Анфим и Марья. Ясноокие, златокудрые, стройные, словно гранила их природа по одному рисунку, прилаживала и внешностью и характером. При взгляде на сильные руки Анфима трудно было поверить, что умел он терпеливо и нежно обращаться с самыми крохотными самоцветами, брать их так осторожно, будто это божьи коровки.

Покойный отец Анфима, Гюрята, тоже был мастером-гранильщиком, приехал в Киев из Суздальского Ростова еще молодым да так здесь и прижился. Он научил сына своему ремеслу, передал спокойный, покладистый нрав.

Жили Птахи небогато. Только изредка перепадало, если заказывали отгранить камень для перстня, вставить сапфир в оправу. А то больше приходилось сверлить бусы из сердолика. Здесь покупатель находился, правда, сразу — быстроглазые киевские юницы, — да корысть-то от них невелика.

Евсей вошел в избу Анфима. Марья обрадовалась:

— Милости просим! — Соседа уважала за скромность, за то, что был трезвенником и трудолюбивым.

— Дай нам, вербонька, узвара, выпьем по ковшику, — попросил Анфим.

Марья засуетилась. Ладонью смела лишь одной ей видимые крошки со стола, сбегала в погреб, принесла жбан варенухи.

А Евсей уже делился своим планом с Анфимом:

— Наберу киевлян покрепче, и махнем. Я те края знаю. Только вот и на грош не верю прикидщику Путяте. Все ведь прикогтит... Что одной рукой дает — другой тут же отбирает.

— Ну что ж, коль решилсЯ, — раздумчиво говорит Анфим.

Сейчас он выглядит старше своих лет, может быть, потому, что от сидячего образа жизни стал полнеть.— Гляди, и посчастит.

— Вот только за юнцов моих боязно.— На открытое, бесхитростное лицо Евсея легла тень беспокойства.

— Не бойся, мы доглядим,— заверил Анфим.

— Вот спаси бог,— обрадовался Евсей.— Я, может статься, своєю подлетка с собой возьму. Пусть свет поглядит... Волю узнает... Так ты тогда, будь ласка, пригляди за отроковицей. Да и помощницей она вам станет...

И правда, почему бы ей не остаться на время? Вон у бобров как заведено: год исполнится после рождения, и родители, сделав малому собственную избу, оставляют — живи своим умом и своей силой.

Так-то оно так, да росла Анна уж больно худенькой, и за нее всегда было боязно.

Эта тревога родилась в нем еще тогда, когда дочка только появилась на свет божий. Она долго не говорила ни слова. Жена в отчаянии упрекала себя: мол, дитя онемело, потому что она, мать, поела рыбы. И бросилась лечить девочку: облила колокольное било водой, принесла ту воду пить Анне. Но и это не помогло.

А в два года словно прорвало какие-то заторы: Анна сразу заговорила и целыми днями щебетала без устали.

...В колыбели подала голос одна из дочерей Птах. Неведомо какая: Марфа ли, Пелагея или Лисавета? Запищали и две другие. Ну, этим немота не грозит.

Анфим подошел к люльке, поддел дочерей правой рукой, прижал их к груди. Поднося к Евсею, весело сказал:

— Вот-то богатство — полная охапка невест!

Евсей поглядел на три совершенно одинаковые, круглые, со светлыми блестящими глазами рожицы. Во рту у каждой был палец, только крайняя сосала еще и палец сестры.

— Как вы их распознаете? — подивился Евсей, и в улыбке вспыхнули белой полоской крепкие зубы.

— Да ведь их, ягодинок, видно ж! — убежденно воскликнула Марья.— У Марфы отлив очей особый. Пелагеица морщит-

ся по-своему, а у Лисаветы возле правого ушка во-он темная росинка притаилась.

Она посмотрела добро на соседа.

— Ты не тревожься! Если надобно, пусть Аннуса с Ивашкой у нас перебудут... Мне и впрямь даже помощь...

* * *

Дети встретили Евсея радостно. Анна крикнула:

— Заждались! — прижалась к нему, потерлась прохладной щекой о его щеку.

Отец ласково провел рукой по ее светлым волосам.

— Ну что, лягушонок?

Ивашка тоже, видно, рад был приходу отца, но поглядывал на него издали: не хотел «лизаться», хотя очень любил отца.

Он любил в нем все: и суровую молчаливость, и умение расшепить, сохраняя при этом невозмутимость, и то достоинство, с каким держал себя отец, ни перед кем не заискивая, не унижаясь, и его умение все делать своими руками. И внешность отца нравилась Ивашке. Он уже мысленно дал себе зарок, что, когда вырастет, будет носить такие же усы и чуб, заброшенный за ухо. Отцу бы только серьгу подвесить — и был бы сущим Святославом, каким рисовала его народная молва.

Ивашка гордился тем, что внешне похож на отца: почти бесцветными широкими бровями, родинкой у правого уха.

Отцу было под пятьдесят, а он сохранил гибкость стана, легкость походки, силу плеч. У отца не найдешь ни одного седого волоса на голове; упершись руками волю в рога, он поворачивал того куда хотел, и при этом у него только багровела, раздуваясь, короткая сильная шея.

Ивашка с удовольствием слушал, как в городе рассуждали:

— Евсей-то бывалый! Сходил света. Богато видел, богато знает. Путно шествовал¹. А волов повадки так лучше всех ему ведомы. Неспроста прозвище свое носит — «Бовкун»².

И еще вспомнили в городе, как в юности сбил Бовкун с седла батоном половецкого хана, связал его и приволок в Киев.

¹ Путешествовал.

² «Бовкун» — вол.

Отец умылся, они втроем поели — Анна успела сварить щи, приправленные конопляным маслом. Отец сказал Ивашке:

— Может статься, я тебя с собой в дальний путь возьму...

У Ивашки сердце замерло от великой радости, но только по-
лыхнул пытливо глазами.

— Да вот сомневаюсь: баловства в пути не будет?

— Батусь! — Ивашка глядел умоляюще.

И отец смягчился:

— Лады. Спать сегодня на дворе будем.

Они устроились на рядне у тына, под вязом. В небе извечно мерцали звезды. Иные из них жались, как дети, к месяцу. Неистово турчали кузнечики, попискивали земляные мыши.

«Как наставить своих мальцов на добрый путь? — думал Евсей. — Где найти самые нужные им слова, чтобы светили в пути, как эти звезды? Чтобы жили по правде, а не по лживым законам?»

Подсунув ладони под затылок, он повел неторопливую, тихую речь:

— Не ищите, дети, справедливости в других, как ее в вас нет... У трудолюба душа нараспашку. И натвердо знайте: правде костыли не надобны... Людина хороша, как она на себя похожа... Никогда не унижайте человека, думайте, для чего живете... Пуще всего товариство цените...

Ветер доносил от реки запах остывшей после дневного пекла воды. Дрожали звезды, словно чистые слезы птахинских близнят.

ПЕРВАЯ ВАЛКА



а следующий день боярин Путята, вволю покура-
жась, согласился снарядить десять возов-мажар к
Русскому морю¹.

Князь Святополк, услышав от своего тысяцко-
го о необычайном походе за солью и прикинув все
возможные выгоды его, пожелал тоже войти в долю и выставил
столько же возов. Даже спросил у тысяцкого:

¹ Черное море.

— Может, им присмотр дать?

Он имел в виду дружинников для охраны обоза в опасном пути. Но Путята отговорил:

— Обойдутся и сами. Выдадим копыа да луки...

— Ну, гляди,— согласился князь.— Да накажи Евсею: немешкая, подобрать людей умелых и возглавить валку¹. Скажи, чтоб порадел для Киева!

Бовкун принялся за дело с жаром, словно бы увидел: впереди забрезжила воля.

Хлопот было немало. Евсей ощупал каждую ось, выложил мажу изнутри корой, приладил на задке деревянную мазницу для дегтя, полочку для ложек. Надо было предусмотреть все: запас сухарей, дубовых втулок, веревок, рогож, сетей из коры липы, ниток из конопли, просмоленных шкур для укрытия соли, синего камня для лечения скота.

Ивашка был всегда возле отца, выполнял все его поручения. У него, как у отца, руки огрубели, но зато стали проворнее и умнее прежнего. А отец только приговаривал:

— Умелые руки и обухом рыбку уловят...

Если же его сердила нерасторопность Ивашки, он незлобиво бурчал:

— А... чтоб тебя муха взбрыкнула!.. Бодай тебя курка!..

Но особую заботу Евсею доставило уговорить киевлян рискнуть поехать с ним. Надо было взять в валку умелых, легких в товариществе и не робкого десятка.

Кладом оказался Петр, прозванный «Детина». Человек неумной силы, в труде он был безотказен, и слышен был только его голосище — такой густой, хоть загребай лопатой. По обличью Петр сущая образина: не губы — губищи, уши — что твои лопухи. А вот, поди ж ты, девчата в нем души не чают: то Петушком, то Петяней кличут, а то «Петрусь — щекотный ус».

Он же на них — никакого внимания. Облюбовал себе Фрося — скромную, невидную девушку с черными, как терн, глазами, и ей сохранял верность.

¹ В а л к а — обоз, артель.

Стриженный «под горшок», в узких портах, холщовой сорочке с вышитым воротом, он был на загляденье.

Все в руках у Дитины горело, самую тяжелую работу делал Петр играючи, ухарски, словно бы разминая мускулы,— менял ли оси, таскал ли мешки, точил ли топор. Да еще покрикивал притворно-сердито на самого себя:

— Вот тож дурной, как лапоть. Шевели-и-ись!

И хохотал, подтрунивая над собой, над внешностью своей. Если же завирался, так и над тем, что завирается:

— Брехун брешет, а дурни верят... Цыц, курячья слепота!

Но умолкал ненадолго и уже через минуту гудел удивленно:

— Как был молодой — по сорок вареников ел, а теперь и семидесяти мало, будь воно трижды неладно!

Такому не понадобится сухая полынь для приправы, чтобы ел с большей охотой.

Потом появился в валке совсем молодой конопатенький Филька — улыбчивый, легкий человек. Из-под земли достанет что надо, всех помирят, любого уговорит, на редкость бескорыстный. Этот, видно, согласился на дальний путь, чтобы облегчить жизнь бабки, у которой жил после смерти родителей.

Убеждая кого-нибудь, Филька приподнимался на цыпочках и, вытягивая тощую шею, так говорил «лопни мои глаза», что никому не хотелось, чтобы эти глаза, похожие на майских жуков, лопались.

За два дня до выезда Бовкун собрал ватагу на своем дворе. Анна с ног сбилась, но, подзавяв кое-что у тетки Марьи, приговорила на славу щи со свиным салом, поджарила рыбу, спекла ячменный хлеб с чесноком, достала из подвала два заветных жбана — с клюквенным и смородиновым квасом,— выставила на льняную подстилку на траве капусту, редьку.

Анфим принес даже щепоть соли.

Наземь сели вокруг яств Иван, Корней, Тихон, Зотка, Осташка, Трофим Киньска Шерсть, Лучка, братья Нестерка и Герасим Не-рыдай-мене-маты — всех и не перечесть, молодцы один в один.

— Хороша хозяйшкa у тебя! — восторгaлся Пётр, со смаком хрустя капустой.

Анна от удовольствия покраснела до слез. Было б из чего, а приготовить она умела: и таратуту — варенные бурачки с хреном, — и холодец из свиных ножек, и затирку — маленькие ба-лабушки из муки словно тают во рту. Было б из чего... И еще: была бы соль, а без нее — все трава и безвкусье.

Когда отведали крепкие квасы, Евсей встал с земли, обвел всех спокойным взглядом.

— Сказывают в народе, — начал он, — приложи разрыв-тра-ву к оковам — спадут. Может, поход наш и есть для нас та раз-рыв-трава — от кабалы, и храброе сердце злую судьбу ломает. Мы — складчики равные... Нам дружность надобна. Будем ар-телью, всей валкой. За брат жить... Общй котел и харч... Чтoб ссор, брани не знaть, и каждый почитал каждого, и все решали сообча, и чтoб честно.

Пётр вскочил на ноги, сверкнул глазами, закричал, словно его за грудки схватили:

— Да ежели что, мы с отступника шапку сорвем!¹

— Верно!

— Весь путь быть нам вместе, как сегодня здесь, в брат-ской избе! — воскликнул Филька, обведя друзей живыми чер-ными глазами.

— Одно слово — артельство! — загалдели наймиты. — За-едино!

Лишь Герасим пробурчал:

— Будет нам добре, когда у курки зубы вырастут, а на ла-дони — волосы.

Но его никто не услышал. Евсей же сказал:

— Ну, гуляйте, гуляйте, гости дорогие! Заговорил я вас не хуже Петра. Ты б, Петя, дал закаблукам лиха.

Пётр не заставил себя уговаривать, выскочил на середину двора, подпрыгнул так, что макушкой до ветки яблони достал, и пошел такое вытворять ногами, что Ивашка только ахнул. Плясал, приговаривая скороговоркой:

¹ Сорвать шапку — предать позору.

Приди, милый, прехороший,
Скинь обувку, пройди босый.
Шоб подковы не бренчали,
Шоб собаки не рычали...

Плясал через ножку, с вихлясами-выкрутасами, а под конец перевернулся даже через голову, так, что буйный густой чуб, цветом схожий со спелой рожью, мотнулся по воздуху. Тут уж все вскочили, пустились в пляс — земля загудела.

Ивашка не отставал: присев на корточки, выбрасывал вперед то одну, то другую ногу, да что-то не больно ловко у него получалось.

* * *

Рассвет серым волом ткнулся в Евсеево окно. Бовкун рывком вскочил с лавки и стал собираться.

Перед отъездом предстояло сделать последний смотр обозу.

Вся до единого улица высыпала на этот смотр — и стар и млад. Вдоль улицы вытянулись все двадцать возов с уже впряженными волами. Каких здесь только не было! И рослые черные, как медведи, и белые — беланы, и с подпалиной, и рябые, рудые, сивые, круторогие, кучье — без хвостов, корноухие — с маленькими ушами. Вон впереди вálки в первую мажу впряжен самый бедратый вол. Серко, на лбу белое пятно, большие глаза обведены черными кругами, один рог смотрит вниз, другой — вверх. Ивашка подивился: «Надо ж такому чуду!..»

Помчался в голову обоза пес Серко: темный, а лапы белые. Ивашка подумал: «Вроде босой бежит».

Серко отправлялся с ними в дальний путь и сейчас суетился больше всех: задрав хвост кренделем, бегал так, словно его все время немного сносило вправо.

На передней маже в клетке восседал петух с ярко-красным гребешком, косил по сторонам.

Киевляне чтили петухов: они первыми приветствовали восходящее солнце, предсказывали погоду, прогоняли мрак, выпуская из-под правого крыла белый свет. Потому-то изображе-

ние петуха вырезали на крышах изб — для охраны от бед, а большого испугом окатывали водой, в которой был вымыт петух.

Евсей взял петуха в дорогу, чтобы ночью на привалах подавал он голос тем, кто в попасе: мол, здесь, здесь валка; в тумане скликал обоз, отмерял ночные часы, утром будил, отгоняя бесов. Да и приятно на чужбине поглядеть на петуха: вспомнить родной двор, вот эту киевскую улицу.

Даже сосновые ветки, воткнутые в возы, должны были напоминать об отчине.

Все возчики стояли на местах, только Петр где-то пропадал, и это сердило Евсея.

А Петр прощался со своей Фросей. Они притаились за бугром под ивой, скрытые ее зелеными косами. Петр осторожно взял Фросю за руку:

— Дождешься?

— Дождусь,— едва слышно выдохнула Фрося и преданно посмотрела на Детину бесхитростными глазами из-под сросшихся на переносье бровей. Они походили на веточки от темной ели.

— Вернусь — свадьбу сыграем.

Она припала на мгновение темноволосой головой к плечу Петра, стыдливо достала из-за пазухи рушник-хустку.

— В дорогу тебе вышила...

Он бережно свернул хустку.

Надо б идти. Евсей, верно, сердится, а сил нет оторваться. Наконец сказал:

— Ну, я пойду...

— Иди,— одними губами, без голоса, ответила Фрося. И словно прорвался горячий шепот: — Ты мне верь, я дождусь... Хоть сколько надо ждать... Ты верь...

Петр подбежал к своему возу. Сосед — Лучка — весело подмигнул разбойничьими глазами:

— Ишь ты, господарь, опаздываешь!

Петр в долгу не остался — огрызнулся:

— Кто набекрень шапку носит, господарем не станет. Или я тебе в борщ начал?

— Хватит, балаболка! Шапку стяни! — прошипел Лучка.

И впрямь — вся валка стоит с непокрытыми головами, с домом прощается.

Евсей низко, до земли, поклонился Киеву. Крикнул, надевал высокую баранью шапку:

— В добрый путь!

Ветер, крутясь, вдруг свил тонкие ветки берез в зеленые кусты — вихоревы гнезда.

Женщины тревожно закрестились, зашептали, запричитали:

— Раньше соль ладьями возили, и добре...

— Возвернутся ли, сердешные?

— Да куда ж они, горемыки?

Киевская валка неторопливо двинулась из города. Женщины замахали ей вслед рушниками: чтобы дорога была такой же гладкой, как эти рушники.

Впереди, в темной свитке, небрежно наброшенной на плечи, шагал с посуровевшим лицом Евсей. На нем праздничный пояс, вытканый листьями. А в том поясе — Ивашка точно знал — был из кожи мешочек, и в нем — кресала, деньги. К поясу же прикреплены нож и костяной гребень на цепочке.

Анна с Птахами долго стояла у ворот, провожая взглядом обоз.

Особенно жаль было Анне брата. Конечно, тревожилась она и за отца, но Ивашка — в его латаных штанах, короткой холщовой рубаше, ветхой сермяге, такой ветхой, что ее только на хлев забросить, в натянутой на небольшие уши шапчонке, травой спитой, ветром подбитой, — казался ей сейчас горе-горемычным сиротой, оставшимся без присмотра.

Анна вытерла наворачнувшиеся слезы и пошла в избу.

Обоз миновал Рыбачью улицу, Подвальную, что шла под валом, Овчинную свободу, Черный Яр и по крутому пути поднялся в гору.

Ивашка, подражая отцу, нарочито неторопливо шел за мажарой. Рядом с ним — Филька, с которым сдружился, как со старшим братом.

Евсей оглянулся. Киев был теперь позади, горделиво лежал

на своих уступчатых холмах, провожал их, словно отец, тревожными очами.

Евсею на какое-то мгновение показалось: он видит отсюда и зеленые ложбины Михайловской горы, задумчиво нависшей над стариком Днепром, и кожемяцкие извилистые овраги, в рудых ручьях, и сплетение путей у Дорожичей, и липы на берегу Лыбеди, и текущий среди леса Крещатик, впадающий в Почайну.

Евсей вздохнул: «Хоть слезой умывайся».

Ивашка тоже повернулся лицом к городу. Тревога прокрадась и в его сердце. «Что делает сейчас Аннуся? — подумал он. — Как жить ей без нас? Будем ли еще когда-нибудь вместе кататься по днепровскому льду на коньках из лошадиной кости, ловить силками птиц и выпускать их весной, срезать в камышовых зарослях тростники?»

Позади оставалось детство... Он не мог бы это выразить словами, но чувствовал: оставалось.

Обогнули курган с высоким камнем на вершине. В тот же миг скрылись шлемы киевских церквей, сады, купола Софийского собора, городские сторожевые башни.

Ивашке казалось, что Аннуся вовсе осталась в дальней дали. И туда же, в эту даль, отодвинулась их изба с резным петухом на охлупене¹, знакомый ивовый берег, где всплескивается рыба, охотясь за мошкаррой. А теперь их изба будет в степи небом крыта, как говорил отец, землю подбита, ветром огорожена.

Было еще совсем светло, когда Евсей крикнул:

— Привал!

Петр удивился:

— Так спозаранку?

— А проверим, не забыли ль чего, — усмехнулся Евсей. — Еще можно до дому сбегать... Корней! — обратился он к коренастому, с длинными ручищами киевлянину. — Ты становись кашеваром — проверь: котлы справны? Пшено, сало гоже? Тихон и Зотка! Волон доглядайте в попасе...

Ивашка рванулся было:

¹ О х л у п е н ь — верхнее бревно крыши.

— Бать, дозволю мне в ночное!

Евсей осадил:

— Пойдешь хворост собирать. Трофим! Погляди, все ли запасные колеса на месте.— И на всю валку:—Распрягай! Раскладай огонь!

Ивашка с Филькой и Герасимом набрали сучьев в гагарнике — леске, выросшем на месте срубленного, выкресав огонь из кремня, развели костер.

Герасим — медлительный молчун, а Филька — веселый, ходит с подпрыгом, все хитро подмигивает Ивашке, норовит за него подтащить сучья.

Возы Евсей приказал составить по пять с четырех сторон, так, что костер и люди были внутри этой ограды.

Солнце зашло за зубчатую стену дальнего леса, и, казалось, красно засветились амбразуры. На треноге в казане над костром запаровала, источая приятный запах, каша. Корней попробовал ее, обжигая мясистые губы, и стал раздавать деревянные ложки ватаге.

Кончили вечерять, когда вовсе стемнело. Искры костра затухали, как летучие звезды. Низко над землей стлался дым, отгоняя комаров.

Кто лежал, кто сидел, опершись спиной о воз. Огонь костра выхватывал из темноты то колесо мажары, то насмешливый глаз Детины, то лихой чуб Корнея, то Филькину щеку в конопатинках.

Неподалеку тихо журчала криница, размеренно хрюмкала, видно отбившийся от остальных, вол. Гортанно клокотнул, укладываясь на ночлег, петух, грыз что-то в темноте под мажарой Серко.

Приятно пахло домашним дымом, степными травами, и запахи эти, сливаясь, щекотали новдри, слегка кружили голову.

Забравшись под теплый овчинный козух отца и свернувшись калачиком у него под боком, Ивашка прислушивался, как ловко сплетает байки Петр. Голос его гудит приглушенно, словно из пустого колодца:

— На закат вынырнул водяной из озера — весь в тине, синю-ю-щий, да ка-а-ак загукает!..

Где-то близко жалобно прокричала птица. От неожиданности Ивашка вадрогнул, подумал: «Ночница. Она слепая, а водит ее малая птаха-поводырь. Вот ночница ей голос подает... чтобы не бросала».

— То было,— продолжает свои рассказы Петр,— еще до Кия... Когда людей только горстка была. Они деревья срубали, тыны плели, по ним ходили... Замест грошей шкуры всучали... И вот поймала одна жинка жабу...

Глаза совсем слипаются у Ивашки, он слышит лишь обрывки Петровой вязи, и ему кажется, что это не Петр говорит — Аннуса.

— Зашила та жинка жабе рот с обеих сторон и бормочет: «Зашиваю красно, шоб было мне ясно, шоб мне не журиться, шоб мне не смутиться...» В тот же миг гром рака убил, а снег загорелся...

И Евсей прикорнул. Сначала припомнил юность свою, потом привиделась ему покойная жена Борислава...

Вот они на праздник трав пошли всей семьей в поле — встречать весну. Борислава распевает песни, вместе с Евсеем и детьми собирает мяту, чабер, зорю. А к вечеру возвращаются домой.

В избе запахло полем. Они набросали в ней свежей травы, стены укрепили ветками берез и лип.

Евсею показалось: Борислава вот здесь, рядом,— густокарие глаза, алые губы, ярко-желтые волосы. У нее быстрая походка, проворные, не знающие покоя руки. Да, все уходит, но не все забывается... Она не побоялась, вопреки родительской воле, пойти за него, бедняка... Какой Анна вырастет? Хорошо, как в мать, с ее добрым, отзывчивым сердцем...

Мерно рокочет голос Петра, потрескивают горящие сучья, хрумкает вол, резко пахнет степная трава полынь.

ТАЙНЫЙ ЗАКАЗ



крученная ветошь чадно горит в плошке, наполняя избу запахом конопляного масла.

Птахины свиристелки угомонились, сопят в потолок шестью дырочками ноздрей. Анна подоткнула девочкам укрывало в ногах, выпрямившись, улыбочиво посмотрела на тетку Марью.

Та сидела с пряжей, заканчивала вязать Анне на зиму рукавички. Кивнула ей благодарно. Потом тихо, раздумчиво запела:

Занедужил у дороги
Киевлянин молодой...

Слезы градом закапали из глаз Анны. Марья спохватилась: — Стара, а дурна! Нашла о чем петь! Ну перестань, доченька, не расстраивайся. Хочешь, я тебе веселую спою?

Звякнув щеколдой, со двора вошел Анфим.

Был он только что у друга — Седяты. Жил тот через дорогу, летом колодцы людям рыл. Сегодня день Авдотьи-огуречницы¹, может стать, скоро дожди начнут заливать сено. И дружки собрались обсудить, что дальше делать.

— Вроде ополоумели все,— сказал Анфим, старательно вытирая ноги о половик.— Пришли к Седяте Бажен и Радим да как стали поносить Путятю! Заняли они у него по две гривны, обещали через года три отдать. Да не смогли. А резы-то² прибавлялись. Ноне уже за одни те резы работают. Шум у Седяты подняли! Словно ястребок на воробьев упал.

— Ты подале от разговоров тех держись. Ими сыт не будешь.

— Да и то,— согласился Анфим.— Шилом Днепр не нагреешь.— Хотел, видно, что-то добавить, но удержался.

Была у него новость для Марьи, припасал до времени. А что

¹ 4 августа.

² Резы — проценты.

держаться в стороне надо—это верно. Мудро сказано: «Живешь, как сорока на тереме: ветер повернулся — полетела».

Ну что ж, и так живут.

— Дядь Анфим,— робко сказала Анна,— ты мне прошлый раз обещался еще про камни рассказать.

— А и расскажу, раз обещался. Вот повечеряем.

Был Анфим в работу свою влюблен без памяти, о камнях мог говорить часами. И сейчас, после того как похлебали тюрю, Анфим сел рядом с девочкой на лавку и начал:

— Есть такой камень — радуга. Ну, сущее небо ясное, а на небе том играют зеленые, красные, желтые искры. Играют, резвятся, как малые дети. А то еще как-нибудь покажу жабыи камни. Аль ласточкины — желтенькие и не боле льняного семя... Агат, как приглядеться, похож на росмахову шкуру. И у каждого камня, скажу тебе, своя долгая жизнь, свой норов. Каждый своим нелегким путем до нашего Киева добирался. К примеру, жемчуг прозрачный приплыл с берегов Студеного моря, кровавый гранат — из Чехии, яхонт — от сарацин, «камень сияния», изумруд, совсем издалека — из Индейского царства. И ведь подумать только: у каждого камня свое лицо. То ли тебе багровник с темно-вишневыми пятнами и крапинками, или козлоглазик, или «око солища», пауковый, лучезарный... Так и кажется: хмурятся, улыбаются они, тайну таят, радуются... Всяк по-своему.

Уже когда Анна уснула на печи, Анфим сказал жене:

— Ну, ладонька, кажись, и нас посчастлило. Неспроста на дворе аист поселился.

Марья выжидательно посмотрела на мужа. Анфим приблизил губы совсем близко к уху жены:

— Путята звал. Задумал, вишь, князь Святополк, там, наверху¹, сделать для себя шапку-венец, точь-в-точь как у византийского императора. Только ты смотри об этом молчок, а то сгноят меня. Путята приказал язык проглотить...

— Ну уж, нашел болтуху,— обиделась Марья.

¹ Верхом жители Подола называли боярские хоромы, дворец Святополка на Горе.

— Да ладно, это я так — на всякий случай. И вот, значаца, закроют меня в тайной гридне средь самоцветов невиданных...

Марья побледнела.

— В тайную гридню? — переспросила она, и в глубине ее зеленых глаз полыхнула тревожная молния.

— Иначе нельзя, — успокоил Анфим. — Что ни камень — чудо, не сюда ж, в халупу, брать... Так вот: должен я на шапке той угнездить яхонт желтый и лазорев, а промеж них — четыре изумруда...

Глаза Анфима разгорелись от радостного нетерпения: поскорей бы начать трудную и сладкую работу.

— Боюсь я за тебя...

Марья с тревогой посмотрела на мужа, словно пыталась в глазах его прочитать недосказанную опасность.

— Ну, с чего ты, Маня? И так подумать: есть-то дочкам падо? А тысяцкий задаток дал, обещал добре заплатить. Невест-то наших подымать надобно?

Марья пригнула мужа за крепкую шею, тихо спросила:

— Домой-то отпускать, станут?

— Нешто нет! — все еще видя перед собой камни, ждущие его рук, убежденно ответил Анфим. — Завтра ж с утра тысяцкий наказал и приступать... Ух, потрудиться охота!..

И Марья успокоилась: пустые страхи. Все будет ладно: знала она своего Анфима в труде.

СТЕЖКА В ОКЕАНЕ ТРАВ

Петух голосисто возвестил о рассвете. Евсей отбросил набухший от росы кожух и встал. Недаром август называют зоревым, говорят, что проливает он на траву добрые слезы, величают его месяцем холодных зорь и оленьего рева. Вот и сейчас откуда-то издалека доносится рев.

Поблекла на небе утренняя ¹. Евсей зябко поежился. Подо-

¹ Так называли планету Венеру.

шел Серко, вильнув хвостом, лизнул руку: мол, ночью все ладно было. Зашевелились артельщики, то там, то здесь приподымалась из-под свитки кудлатая, встрепанная голова. Только Петр продолжал храпеть так, что его, верно, слышно было в Киеве.

— Побудка! — громко сказал Евсей. — Вставай, кияне, путь не ждет!

Первым вскочил Филька. Медленно сел, ошалело потряс головой Петр. Петух, уже прозванный Горластым, слетел с оглобли, прошелся мимо, выжидательно кося глазом. Петр достал из кармана крошки хлеба, бросил петуху:

— Откушай, тезка... Не чинись.

Побежал к кринице Ивашка, а следом за ним — тонкий, гибкий Филька.

Пока поели, напоили и впрягли волов, солнце встало над землей на два дуба.

Степью шли уже много дней.

По-своему красива она в эту пору. Что-то в ней и дикое, и нежное, и опаляющее сердце необъятностью, привольем, бесхитростной песней жаворонка.

Белеет на луговинах кашка, по склонам извилистых балок желтеют длинные кисти дрока, словно ждут, когда соберут их, чтобы красить лен.

Ветер ходит по степи, перебирает заросли золотистой чилиги в полтора человеческих роста. Чилига — излюбленное лакомство волов, и они все поглядывают в ее сторону.

Кричит перепел в яру, взмывают стрепеты над кустами терна. Табунами кочуют дрофы, под ноги волам то и дело попадаются ямки, наполненные пчелиным медом — медвежьей усладой.

Ивашка босым идет за возом, жадно вбирает глазами этот новый для него, заманчивый мир.

Вон вдаль показался табун диких лошадей — тарпанов, серых, низкорослых, с черными гривами и хвостами. Жеребец, подняв голову, путливо заржал, и весь табун умчался в степь, уводя за собой чью-то домашнюю кобылицу с остатками упряжи.

— Глянь: баба-птица ¹, — ткнул Петр батоном в сторону кургана.

И впрямь, птицы с чудными широкими клювами важно шагивали под курганом.

— Из таких вот курганов, — сказал Петр, — ночью выскакивает всадник и скачет. А только первый луч на землю падет, он снова в курган прячется...

Ивашка не знает: верить ли байкам Петра, не верить? Только все, что вокруг, — чудо и входит в него, как задушевная песня, охватывает трепетной волной.

Вчера видел Ивашка, как выставил из воды свои колючие, словно наточенные зубцы телорез. Чем-то напоминал он воина. А рядом дремотно плавали белые цветы водокраса с листьями, похожими на зеленое воловье сердце.

Или вон, на откосах, кивают метелки ключ-травы, подают знак, что где-то неподалеку клады. Отец говорил: не дай бог волам пожевать эти метелки — издохнут.

За пазухой у Ивашки желтые пахучие стебли. Отец нарвал их, сунул в торбу, и ночью, когда Ивашка положил на нее голову, нос приятно щекотал пряный запах.

Порты на Ивашке мокрые: недавно, перетянув их травой, ловил он вместе с Филькой в степной речке рыбешек...

Евсей шагает впереди. Едва пробитая кем-то дорога уходит вдаль. Кажется, приподнимись она вверх — и ты по лестнице взойдешь на небо.

«Так бы шел и шел до самого края света, — думает он, — и не возвратился к проклятому Путяте, освободил бы душу от него. Лучше смерть на свободе, чем боярский полон. Только и греет нас солнце — светonosный праведный великан. Только за небо и не платим резы. Земля богата, а жизнь не устроена».

Солнце в степи становится словно ближе человеку: его встречаешь на зорьке, провожаешь на сон, весь ясный день видишь его перед собой. Оно то жаркое, изнурительное, то ласковое, теплое, то играет в прятки, уходя за тучи...

¹ Пеликан.

Сейчас на чистом небе ни облачка. Степь кругом, степь... Лишь вдаль сиротливо и виновато стоит тополь, неведомо кем обреченный на одиночество в чистополье, да у дороги застыла каменная баба — смотрит немо вслед, сложив руки на животе.

Становилось все жарче. Кустики габреца лежали на земле коричневыми комками. Ивашка сбросил армячишко, отер руками пот с лица.

Красноперая птичка-жажда окунула острый нос в придорожный кустарник, словно в поисках воды, и попросила: «Пить-тилик... пить-тилик...»

Ивашке казалось: все вокруг него говорит на понятном только ему одном языке.

Шепчет старая трава-нежирь: «У нас с-си-ла, с-си-ла...» Спрашивает вол вола: «Скоро ль попас?» Бодяк, качаясь, мертво шелестит: «Скуч-но...» Горластый петух бросил вдогонку Серко, побежавшему к броду: «Беги, беги, да ведь там глубизна».

Перебравшись через Днепр — эту первую переправу из двадцати двух предстоящих, — ватага остановилась намазать свою одежду дегтем. Артельщики теперь словно надели на себя темные латы.

Жарко, неудобно, а что поделаешь? Дальние страны часто чумили Русь, приносили великую беду — моровую язву. Тогда нападала гнилая горячка, распухало в паху, по телу шли черные раны. Недаром звали ту беду черной смертью.

И оружие — копья, лук со стрелами, щиты — надо теперь держать под рукой: где-то рядом стлалось половецкое лихо.

Уж кто-кто, а Евсей вдосталь хлебнул его, когда на степь напоззала половецкая саранча, обезлюдивая Русь. Вместо жаворонка тогда свистела стрела, вместо ручьев звенели кольчуги. И нигде не скроешься от беды. Тебе бы пахать, боронить, а навстречу мчатся половецкие кони, шею захлестывает аркан... Поля сиротели... Хорошо, князь Мономах отогнал орды, а грузинский царь Давид Строитель — муж половецкой княжны, красавицы Гурандухт — взял к себе на службу сорок пять тысяч половец. Да ведь еще бродят одичалые недобитки по киевской земле.

Евсей задумался: какой путь избрать дальше? Идти на юг, словно бы вровень со старым путем из варяг в греки, добраться до Днепровских порогов, а там повернуть на Крым?

Он в этих краях ходил прежде против половцев, ездил как-то с чужой валкой и хорошо запомнил, где дурные колодцы, а где добрые водопой, где вредная для волов трава чихирь и ядовито дышит земля, а где отменные пастбища.

Надо прикинуть, и где меньше оводов, комарья, потому что в пути оводы в кровь искусывали волов; от комаров так вспухало лицо и так раздувало веки, что исчезал свет, нечем было дышать.

Поскорее б добраться до леса, там безопасно: кочевники не любят его. А если идти открытым местом, надо, чтобы оно было повыше — дальше огляд, — и чтобы в случае опасности хватило времени спрятаться, сделать укрытие из мажар.

Пока ж предстояло идти запорожской степью с бугра на бугор, с бугра на бугор.

К полудню ветер погнал по небу стадо черных волов, доносил раскаты грома, вспыхнули ветки молний, неожиданно пошел свирепый дождь. Казалось, градины величиной с куриное яйцо метили в темя. Все укрылись под мажи, втянули туда и воловы головы, пережидая напасть.

Гроза исчезла так же быстро, как и возникла.

И снова на безоблачном, лысом небе еще невыносимей за светило солнце. Лицо оревало жаркой югой, к воздуху примешался дымок где-то горящего сена, а раскаленная земля делала жаркий воздух застойным.

Степь с трудом дышала, и было странно, что в этом мертвом пекле еще летают стрекозы, скачут кузнечики.

Солнце едва брело в небе. Волы, разомлев, через силу плелись, кося ногами.

Только Петр не унывал, кричал сомлевшему Лучке:

— Хошь и со спотычкой, а бреде-е-ем!

Тяжкие думы завладели Евсеем.

«Чужих волов гоняю, а сам не лучше вола в ярме. Нанялся, как продался», — думал он.

Складывалась горестная песня. Евсей не пел ее — петь не умел, а подбирал слова про себя:

Гей, гей! Ты, беда,
Меня засушила,
А кручина свалила. Та гей!
Гей, гей!
Чужие возы мажучи,
В руках батог носячи!
Та гей!

Почему так несчастно повернулась моя жизнь? Почему не могу досыта накормить своих детей, посолить пищу?.. А Путяты жрут в три горла, попрытали соль.

Кто лиха не знает,
Пускай меня спытает...
Та гей же, гей!

А может, там, за морем, есть Солнцеград. Оттуда прилетают весной птицы. Там всегда тепло, и потому людям легче добывать одежду, пищу... И нет бояр... И все счастливы».

Волы увидели впереди озерцо и прибавили шагу, почти побежали, старательно мотая головами, роняя слюну на землю.

БЕДЫ



еда родит беду.

Сначала гадюка укусила полового¹. Евсей едва отходил его, высасывая из раны яд.

Потом заболел огромный черный вол. На ноге у него появилась бряклая опухоль. Он не мог больше идти. Запасенной еще в Киеве конской челюстью с зубами Евсей проколол опухоль, и волу сразу стало легче, а на другой день он даже встал. Еще через трое суток вепрь бросился на круторогого белана, распорол ему брюхо; Трофиму Кипьска Шерсть, защищавшему вола топором, вепрь повредил ногу.

¹ Поло́вый — желтый вол.

Ивашка был как раз неподалеку, у выпаса, прибежал на крик, но вебрь исчез, а Трофим обливался кровью, и ему надо было немедленно перевязать рану.

Потом подрались Петр и Лучка. Когда Евсей стал разбираться из-за чего, выяснилось, что Лучка пытался украсть у Корнея деньги, а Петр изобличил его. Лучка каялся, но решение атамана было неумолимо: Евсей отправил его назад в Киев. Валке не нужны были грязные руки.

Филька ходил убитый: его честная душа не могла мириться с воровством, но и Лучку было жаль.

Возле седьмой переправы через Днепр случилась новая беда: непонятной болезнью заболел Корней. Лежал, как вялая рыба, жаловался на слабость в ногах-колодах:

— Вроде б шкура у меня отстала, как у вербы по весне.

Началось все, видно, с того, что в пекло напился Корней ледяной воды из колодца.

Разметавшись на возу, бормотал:

— На языке джуге сухо... — Просил, чтоб наземь его положили: — На ней легче... А сами идите дале. Не возитесь со мной, идите!

Евсей собрал артель на совет.

Мрачный Тихон — обычно молчаливый, только и говоривший что со своими волами и, казалось, у них перенявший взгляд исподлобья, — угрюмо изрек:

— Чего ж всей валке стоять... Может, месяц... одного ждать. Оставим ему харч. Подымется — догонит. Или кто проезжать будет назад, до Киева...

Но тут Петр закричал громче всех:

— А завтра тебя кинем! Это — артельство? — И поглядел на Евсея: — Как, ватаман?

Все выжидающе уставились на Бовкуна. Он сказал:

— Не по совести — бросать...

И Филька даже подскочил от радости:

— Не по совести!

Решили оставаться возле Корнея, купно лечить его.

Давали настой полыни, «до грома сорванной», от кашля —

толченую кору груши. Намазывали пятки и хребет чесноком и салом, жаренными на огне.

А Корнею становилось все хуже — он начал бредить.

...Увидел себя в избе отца-гончара. В подворье — горы, мазанка для сушки сырых мисок, горшков. И в избе всюду сушится глина: на гончарном круге, на лавках. От сырости сделались скользкими стены. Одежда пропиталась липкой жижей. Ставя маленький крестик на кувшине, отец, усмехаясь, говорит: «Бабы просят. Чтоб ведьмы молоко не портили».

Потом вроде бы в избе оказалось множество птиц: был Корней страстным птицеловом.

Закувала зозуля-вдовица. Сказывают: то жёнка убила своего мужа и обратилась в зозулю. С тех пор она скитается по лесам...

А скоро на Семена¹ черт начнет воробьев мерить. Насыплет их в мерку с верхом и побежит в гору. Те, что в мерке останутся, те ему. А что рассыпет — на расплод. Вот и кучатся воробьи на Семена — держат совет. Как наши артельщики: оставить его, Корнея, или всем ждать?

А что, не хуже птиц решили... Журавли не бросят хворого — крыльями подхватят и понесут, полетят стайей дале. А в супружестве если кто у них провинился, собираются стайей и убивают клювами провинца. Долб-долб в голову... Ох, голова на куски рвется...

— Евсёй! — позвал Корней.

Тот подошел, с состраданием поглядел на ввалившиеся щеки, измученные глаза Корнея. Нет, видно, не жилец он.

— Отхожу я...

— Ничего, сдюжишь, — попытался приободрить Евсёй.

Но Корней строго сказал:

— Отхожу... Отцу-матери передай... в торбе у меня... гривна... Думал... поднакоплю еще, оженюсь...

Корней прикрыл глаза, с трудом поднял веки в последний раз:

¹ 1 сентября.

— Не довелось...

Завыл Серко, надрывая сердце. Взорвели, отказываясь пить воду, волю.

Корнея омыли, причесали. Петр надел на него чистую рубашку, покрыл лицо рушником, вышитым Корнеевой невестой в дорогу. Подумал: «Может, и мой рушник вот так пригодится».

Возле переправы вырыли могилу. Опустили в нее Корнея, обернутого рогожей, — головой в сторону Киева. И у Днепра вырос еще один земляной горб — мало ль людей полегло в степи.

* * *

В середине сентября Евсеев обоз прошел последний брод через Днепр.

В лощину заходить не стали: в эту пору там прятались гадюки.

Становище, как обычно, раскинули на бугре, обнеся его забором из мажар.

Солнце еще не село, но волю притомились, а предстояли два последних перегона к соляным копам, и потому решили волю отдохнуть.

Пока варился кулеш¹, Евсей взялся починить колесо у Петровой мажи, а Ивашка обучал хитростям Серко: клал ему на нос хрящик и заставлял тот хрящик не трогать, раньше чем не закончит рассказывать ему присказку.

Тихий осенний день навевал Евсею неторопливые мысли. Летели по ветру и исчезали паутинки: строили себе ведьмы лестницы на небо.

Сколько все же позади осталось селений, болот, переправ — несть им числа! Выверая путь звездами, могилами, солнцем, ветром, пробирались они вдоль Ворсклы до речки Берестовой и к Конским водам. Бесконечной чередой проходили селения: Приют, Воронье, Пески, Кочерыжки. И речки: Ирпень, Терновка, Волчья, Синь-вода, Молочная...

¹ Кулеш — жидкая каша из пшеничной муки с нежирным салом.

Неспроста в старой песне поется, что с устья Днепра до вершины его семьсот речек да еще четыре.

А как широко раскрывал глаза Ивашка, оглядывая Нена-сытецкий порог Днепра, где против камня Богатырь убили когда-то печенеги Святослава.

Как немел от удивления, видя стадо лосей — может, с тысячу, — переплывающее через реку Тетерев.

Жался от страха к отцу, слыша, как где-то в глубине чащи, окаймляющей шлях, продирались со свирепым треском дикие кабаны. И вовсе цепенел, заприметив в высоких бурьянах желтовато-серого змея-полоза толщиной в руку, длиной в три шага. Под рекой Мертвой такой полоз поднялся было в человеческий рост, да Тихон рассек топором поганую голову.

* * *

Половцы появились перед самым заходом солнца.

Первым увидел вражин Зотка. Он стоял, вглядываясь, на бугре и только крикнул: «Половцы!» — как стрела сразила его.

С гиком и улюлюканьем всадников сорок мчалось на табор, пустив впереди себя тучу стрел. Это, видно, были остатки какой-то орды.

Евсей успел расставить лучников у щелей между мажар, и лучники выбили из седел с полдюжины половцев; сам же, взяв с собой Нестерку, Герасима и Осташку, пополз густой травой в обход степнякам. Один из них, вырвавшись вперед, поравнялся с Филькой и коршуном бросился на него с коня. Они покатились по траве. Ловкий, гибкий Филька вывернулся было, но силы оказались неравными, половец снова дотянулся руками до Филькиного горла.

Выскочив из-за мажар, Петр ударом топора прикончил половца, и тот сполз с мертвого Фильки.

Ивашка ящеркой подполз к другу, всхлипывая, схватил его лук. Стиснув зубы, стал посылать стрелы в сторону врага. Верно, неспроста говорил еще в Киеве Филька, смеясь, что про-

питан лук дымом травы-колючки, чтобы метко стрелял. Ивашка угодил в спину убежавшего половца, и тот упал.

Вооруженные кривыми ножами на длинных древках, Евсей и его небольшой отряд, проделав обходной путь, подкрались к половцам сзади и стали перерезать сухожилия коням. Иные всадники, соскочив на землю, бросились в рукопашную схватку, другие немного отступили.

Подоспевший к своим Петр, широко размахивая топором на длинном держаке, неистово крушил врагов. Но вот к нему подкрался пеший половец. Пригнувшись, оскалив зубы, он занес кривой нож над головой. Петр случайно обернулся, обманным движением половец заставил его открыться и нанес удар: страшная рана располосовала ногу Петра ниже колена.

Пришли на подмогу Иван, Трофим и еще несколько молодцев, выскочивших из-за мажар.

Половцы дрогнули и отступили вовсе.

Победно закричал петух, взлетев на дышло.

Быстро темнело. Евсей начал перекличку. Кроме Зотки и Фильки, погибли от руки половцев оба брата Не-рыдай-менематы.

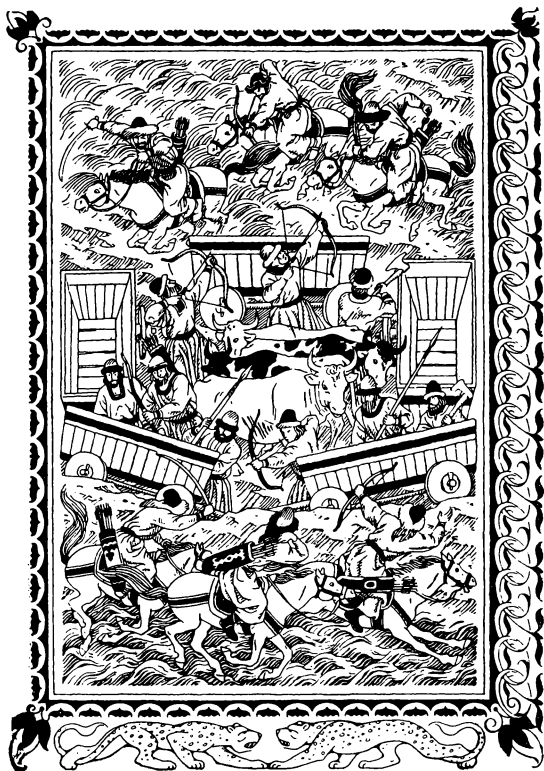
Да и сам Евсей был легко ранен.

Бовкун всю ночь просидел возле Петра. Горькие думы одолевали Евсея. Доколе ж будет стоять неумолчный плач над Русью? В какой уже раз вспомнил, как погибла от руки половцев Борислава, каким осиротелым возвратился он в Киев...

Брел тогда в кромешной тьме, а из чьей-то избы, как стон, просачивалась тоскливая песня, рвала на части сердце:

Злые половцы — волки лютые,
Раздирают тело, разносят кости.
Убивается мать по своим детям,
Уведенным в полон, побитым...

Застонал натужно Петр. Вчера у него нещадно болел зуб — света из-за него не видел. И Евсей затолкал ему в дупло зуба корень травы, сверху заклеил зуб глиной. Сейчас та крохотная боль отступила перед великой, словно бы заглушенная ею.



Наутро нога Петра опухла и почернела. Евсей только посмотрел и понял: если не отсечь ее — погибнет человек.

Петр впал в беспамятство. Заострившееся лицо его стало похоже на лицо Корнея в последние часы. Надо было решаться.

Евсей приказал напоить Петра густым отваром мака, чтобы крепче уснул. Наточил нож так, что лезвие его пересекало волосинку, прокипятил в котле, подстелил под Петра чистую холстину, приказав принести ключевой воды и ремни, перетянул раненую ногу. Потом из заветного лекарского ларца, где были высушенные тертые тараканы от водянки¹, Евсей достал траву, останавливающую кровь, осторожно положил ее рядом.

...Пришел в себя Петр уже на возу, когда подъезжали к соляным копиям. Поглядел на укороченную ногу. Разве надобен он такой Фросе? Зачем к ней возвращаться? Молча зарыдал и снова забылся в бреду.

РУШНИКОВЫЙ КУТ



нна затосковала: от брата и отца не было вестей. Она не могла найти себе места, пыталась работой — и у себя, и в избе тетки Марьи — заглушить непроходящую тревогу, но это плохо ей удавалось. Марья, видя, как мучается девчонка, старалась быть с ней поласковее, отвлечь ее песней да рассказами.

Вот и сегодня. Утро воскресное, Анфим занят своими камнями в хоромах Путяты, малявки еще спят, и Марья, накормив Анну, начала очередной рассказ:

— Мать еще моей матери сказывала: гуляли как-то девы за болотом да увидели цветок — крин, ну сущий снег белый. Одна из девиц и сорви его да в той же миг сама стала ключевой водой-потокотом...

Голос Марьи — тихий, грудной, она ласково поглаживает рукой русые волосы Анны.

¹ Врач Боткин успешно пользовался этим средством.

— У нас, скажу тебе, когда корова была, я вечерней зарей несу тайком к кринице ломоть хлеба, опущу его в ключ да говорю: «Добровечер, криница! Прймай хлеб-соли! Дай нам водицы на добро, чтоб у скотины молока было боле». А на утренней зорьке зачерпну криничной воды со вчерашним хлебом и несу домой — скотине...

Анна слушает не очень внимательно: видно, свои мысли одолевают.

— А молока корова стала боле давать? — спрашивает она, лишь бы разговор не иссяк.

Марье б сказать правду: «Не боле», да жаль у дитя сказку отнимать:

— Реки!

Она тревожно посматривает на девочку.

— Ты бы, Аннуся, сбегала на торг. На рушники поглядела.

Анна оживляется:

— И впрямь погляжу. За Милицей и Федоской зайду...

— Пойди, пойди... Только уговор — к полудни будь, а то я забеспокоюсь.

* * *

Торг шумный, великий, чего тут только нет: оси и луковицы, деготь и косы с клеймом подковой, тарань и размалеванные горшки.

Вот всклокоченный мужичишка взобрался на мажу, насадил баранью шапку на палку и, вертя ею над головой, закричал, надрывая кадык:

— Эй, миряне, сходитесь, сходитесь ради послухи! Селяне, городяне, торговцы, покупцы, проезжие, прохожие, сходитесь, сходитесь!

Оказывается, всего-то и дела — продает на мясо старого, беззубого вола лет пятнадцати от роду. Тот стоит понуро, с рога свисает веревка, хотя никуда не собирается бежать.

Гундосят бродячие нищие. Молодит обросших брадобрей. Жарят торговки рыбу на сковородках. Трапезуют под возами семьи.

Мальчонка с оттопыренными щеками дует что есть сил в глиняную свистульку, похожую на барабанка.

Но все это—даже качели!—мимо, мимо. Анна с подружками, ныряя под локти, пробирается в кут, где выставлены вышитые рушники. Здесь полным-полно модниц. На них сапожки алого сафьяна, белоснежные сорочки с красной лентой, продетой в ворот, платки так завязаны на голове узлом, что спереди часть волос открыта, а заплетенные косы свободно свисают на плечи.

Анна тоже отпускает косы... Вчера угорела немного, пришлось голову квасом помыть — помогло.

Ой, да какие ж под навесом рушники! И почти на каждом круг — солнце!

Есть простенькие — рукотеры. Их в свадьбу на колени гостям кладут. А вот рушник-накрючник длиной в семь шагов — им богатые украшают стены изб и двери к свадьбе. Рядом — совсем крохотный рушник, такой набрасывают на спинку праздничных саней. Без рушников никуда! Их дарят гостям, сваты повязывают рушники через плечо, ими обертывают каравай, перевязывают дугу.

Рушниками убирают святой угол, связывают жениха и невесту, накрывают стол; их вывешивают над окном, а то и на угол избы — подают знак прохожим: мол, в доме покойник. А когда душа его прилетит — умоется росой, утрется заготовленным рушником, тем самым, на котором гроб несли и в могилу опускали. Когда же молодница помирает, крест тоже рушником перевязывают, а потом отдают тот рушник церкви.

«Разве можно девушку замуж выдать, коли нет у нее самое малое сотни рушников? Это голь беспросветная замуж идет, а рушников в обрез», — сказала как-то дочь богатея, Аграфена, своей подруге, Анна слышала тот разговор.

Вот сейчас Аграфена (брови насурьмила, щеки красным нармунявила) вцепилась в рушник с узорными маками, бахромой и продернутой лентой — не оторвешь. А ее подруга держит у брус¹ с вышитыми концами — не наглядится.

¹ У брус — полотенце, им повязывают голову.

Анна впиалась глазами в хоровод рушников, стараясь запомнить, какие как расшиты, какие с мережкой.

Она и сама пробовала вышивать: возвратится отец с Ивашкой — а им подарок. Когда приедут, непременно испечет пироги с кашей, положит их на расшитые рушники — милости прошу к столу!

Кто-то положил руку на Аннино плечо, она обернулась.

— Фрося!

Та была бледной, встревоженной. Одета, как всегда, чисто-чисто, приглядно: длинная сорочка из белого холста с кумачовыми наплечниками и «со станом», вышитым пшурками. Рукава собраны в кисти широкой цветной лентой. У подола юбки-понёвы — узорная кайма. Вот как надо даже бедной девушке за собой следить.

— Добридень, Аннусь, — печально сказала Фрося. — Ты как верба: ее не поливают, а она растет. Вестей от отца нет ли? — посмотрела, выпытывая.

— Нет...

— На сердце — камень, — грустно пожаловалась Фрося. — Чую, беда там...

Анна не нашла, что ответить. И в ее сердце тоже прокралась тревога.

Фрося улыбнулась ободряюще, словно сама себя успокаивала:

— А может, все и ладно?

Анне стало еще тревожней.

Подбежали девчонки, потащили Анну!

— Айда купаться!

Припустил слепой дождь, словно из солнечного сита. А девчонкам только того и надо — заплясали по лужам, зачастили скороговоркой:

Дождику, дождику,
Сварю тебе борщику,
В новеньком горшке
Поставлю на дубке.

Взрослые еще не принимали Анну и ее подруг петь веснян-

ки, так они хоть здесь отпляшут свое, отпоют. И Анна пуще всех топчет лужи. Неспроста мать когда-то ей говорила: «Скачешь, как дурна коза».

Дождь прошел, и над Киевом выгнулась покатым мостом семицветная радуга, одним концом ушла в Днепр, словно вытягивая из него прохладу. На ветвях деревьев повисли хрустальные дождевые бусинки. Небо покрылось редкими белыми облачками: верно, там пекли хлеба.

Анна незаметно сорвала полынь еще в каплях дождя, зажала в кулаке. Когда будет плавать, может, русалка выскочит, чтоб защекотать до смерти, спросит: «Что ты варила?» Анна ответит: «Щи да полынь!» Протянет ладонь и крикнет: «А сама ты сгинь!»

Нет, и купаться идти не хочется. Что там с отцом и братиком? Может, захлестнуло половецкое лихо? Так бы и полетела к ним на крыльях.

Анна медленно пошла к дому. На пригорке постояла под густым, развесистым ясенем, погладила его темно-серую кору. Под этим деревом она не однажды сидела с братом, выпытывая, правда ли, что змея не выносит запаха ясеня, цепенеет от него.

Где-то сейчас братик и отец? Где?

У СОЛЯНЫХ ОЗЕР



оляные озера разбросаны по берегу Гнилого моря¹. Круглое, Червонное, Долгое — всего пятьдесят шесть озер...

Они кажутся мертвыми, тусклыми льдинами у берега и далеко от него. Когда в конце мая солнце пригревает сильнее, морская вода из озер испаряется, и они покрываются соляной коркой: близ берега потоньше — ярко-розовой, а дальше — толще и бледнее.

Ивашка не сразу понял, что это и есть долгожданная соль, — так ее здесь было много.

¹ Гнилое море — озеро Сиваш.

Какие-то люди в задубевшей одежде, с дощечками, подвязанными к подошвам¹, и в грубых рукавицах набирали лопатами ил с солью в тачки и по сходням везли на берег, складывали там в соляные скирды — каганы² длиной шагов в тридцать, шириной в шесть и локтей в пять высоты.

«Будто стены Киева», — подумал Ивашка, глядя, как скирду обжигали хворостом и соломой, чтобы ее не размыл дождь.

От другой скирды, рядом, двое добытчиков топором отбивали куски слежавшейся, обожженной соли.

Но Евсей знал, что эта самосадочная соль не лучшая, хотя и в цене. Надо проехать дальше, к Соляным ключам. Там припленные артели рыли колодцы, черпали из них рассол и, вылив его в котлы или железные сковороды, добывали белую горьковатую соль, продавали ее лукошками, кадцами.

К полудню киевская валка достигла этих варниц на реке, возле устья.

Вместе с отцом Ивашка подошел к колодцу, где работал водолив. Рядом с ним лежали копьё и топор. Видно, и здесь лихо гуляло неподалеку.

Бадья на таком же, как и у них в Киеве, журавле, поднимала рассол наверх, откуда его выливали в деревянный желоб, ведущий в варницу. Варница была сделана из сосновых бревен — рядов двадцать пять вверх.

Бовкун с сыном зашли в нее. Посреди варницы сооружена печь — глубокая яма, выложенная камнем. От едкого дыма, соляных паров нечем дышать. Не иначе, в аду все точь-в-точь так.

Над ямой в подвешенном железном ящике кипятился соляной раствор.

Какой-то кривоногий человек — позже Ивашка узнал, что это варничный повар, — то и дело подкладывал под ящик дрова; другой, худой, в обносках, шуровал шестом: начинает ли густеть соль? Рядом, на помосте, сушилась уже вываренная соль.

Евсей подошел ближе к солевару, снял шапку.

¹ Соляной раствор — тузлук — разъедал кожу до ран.

² В кагане было, по более поздней мере, до десяти тысяч пудов соли.

— Добридень. Принимайте киевскую валку.

— О-о, земляки! У нас есть из Ирпеня,— радостно откликнулся варничный повар, заросший до глаз седой щетиной.— Артель сбивать?

— Нет, мы гости-купцы,— усмехнулся Евсей.— А сколько вас в артели?

— Считай, у каждой варницы восемь работных: подварок, четыре водолива рассол таскают да еще дрововозы. А у нас три варницы.

— Что за люд?

— Все больше бездворные, беспашные, кабальники, бобыли... Пришлый люд... Каждый хочет бадьей счастье выловить.

— Его выловишь! Ты ватаман, что ль?

— Да вроде б так называли меня люди,—прищурил смеющиеся глаза.— Был бы лес, а леший найдется...

— Тогда давай, ватаман, рядиться. Крупы, мед у нас есть. А еще прихватили — может, понадобятся — холстины...

Варничный повар снял рукавицы, провел рукой по волосам на голове, словно выжал пот из них.

— Ну-кась пойдем в тенок, пообсудим,—предложил он.

* * *

Они долго рядились. Евсей советовался со своими, атаман солеваров — со своими; наконец договорились, а под вечер все собрались на луговине, под горкой, вместе готовили кашу, хлебали ее из одного котла.

Уже в сумерках рябой, с красным лицом солевар — атаман назвал его Ладимиром — сказал угрюмо Евсею:

— Что у нас под Ирпенем, что у вас в Киеве — нашему брату горькая жисть... Душат бояре, воеводы, дохнуть не дают.

Вместо Евсея задумчиво ответил атаман добытчиков соли:

— Как им не душить, коли не научились мы стоять друг за друга...

— Это верно,—подтвердил пожилой солевар с детски простодушными синими глазами,—всяк Демид стороной норовит...

Недавень у нас под Новгородом сотский — злая собака — вдарил мово соседа Антипа за то, что тот к сроку долг не возвратил... Шесть зубов выбил... А я только кулаки сжал... да вот сюда подался...

— Хлеба нет, дети мрут! — гневно выкрикнул рябой. — Всюду, по всей Руси.

Загалдели разом несколько голосов:

— Сами мед пьют, а нам шиш дают...

— Чтоб над ними солнце не всходило!..

— Босы, наги, да зато лычком подпоясаны!

— Хуже некуда...

Этот разговор еще больше растравил Евсею душу. Он долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок. Где же тот Солнцеград? Видно, людям с мозолями на руках по всей Руси худо. И как тот подлый порядок сменить — неведомо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ



же вступил на побуревшую степь грязник¹, сбивая в кучи стрепетов и дроф, когда Евсеева валка двинулась по сырому пути обратно.

Все чаще дул колкий ветер-бурей, вовсе озверели белые кусачие мухи.

Над головой, трубно курлыкая, пролетели на юг журавлиные косяки, быстрым облаком исчезли стаи ласточек, протянулись дуги гусей. Вслед им прорезали блеклое небо степные луны, черные и красные коршуны, лебеди. Только домоседы-жаворонки никуда не спешили.

Потом, расквашивая дорогу, полили сплошные дожди.

Просмоленная одежда спасала людей от сырости, а вот волов дожди мучили: мокрое ярмо до крови натирало им шею, приходилось все чаще делать привалы.

В таких случаях все забирались под возы, укрытые рогожа-

¹ Грязник — октябрь.

ми, просмоленными шкурами, и, прислушиваясь к унылому постукиванию капель, вели, вздыхая, разговоры, что вот, мол, в Киевщине уже и отмолотились, и капусту порубили...

Один лишь Ивашка решался делать налеты на грибные владения, притаскивая мясистые красноватые рыжики, покрытые ржавыми пятнами опенки, что растут на гнилых пнях, а то и жир земли — масленки. Ходил Ивашка теперь в лаптях, навернув на каждую ногу по две-три онучи, поверх пускал в переплет оборы, и никакие лужи, грязь не были ему страшны: только знай на привалах у костра подсушивай обувьку.

Лапти плести Ивашку научил отец еще дома. Они вместе драли с молоденьких лип лыки длиной в два шага. Потом размачивали их в теплой воде, подрезали полосы до нужной ширины и по колоде плели в десять строк железными крючками — коточиками. А подошву прочнее прочного свивали из веревок.

Отец усмехался: «Черт за три года лучше не сплетет».

В один из дождливых дней, когда все спрятались под мажары, Ивашка напомнил:

— Тять, ты обещал поведать о лазутчике с Киева...

Отец огладил усы.

— Ну что ж, послушай.— И стал рассказывать историю бесстрашного мальчонки, что пробрался через печенежский лагерь к воеводе Претичу, позвал его на помощь осажденному Киеву.

Ивашка слушает затаив дыхание. Он видит себя свершающим подвиг.

Это он, переодевшись в печенежскую одежду, подмазав головешкой края глаз, сделав их раскосыми, ползет по колючей траве — пахучему валерьяну — в стан врага. Он обманывает печенежского князя Курю: прикинувшись дурачком с уздой в руке, разыскивает чалого коня.

Это он плывет под водой, держа в зубах полую тростинку, дыша через нее, он — раненный вражеской стрелой, истекающий кровью — добирается до своих.

Отец уже закончил рассказ, а Ивашка все сидит как заворо-

женный и видит: вот погнали вои Претича печенегов, вот освободили Киев.

...Дождь еще сильнее забарабанил по кожах на возах, видно, заладил надолго.

— Черт женку бьет и дочку замуж выдает,— пробормотал Петр, но шутка получилась у него мрачной.

Он сидит безучастный, хмурый, вытянув обрубок ноги, думает свою невеселую думу. Наверно, даже не слышал рассказ Евсея.

Сидит какой-то потухший, лицо как серый ковыль. Решает свою судьбу, тяжело ему, видно.

— Я в Киев не вернусь,— вдруг говорит он тихо Евсею.

— Это ты недоброе надумал... А отец с матерью?

Петр колеблется: говорить ли? Сильные порывы ветра с размаху бросают на возы пригоршни дождя.

Нет, не станет говорить, что решил остаться в Ирпени — дядька, брат матери, там с семьей.

Денег немного есть, как-нибудь перебьется. А потом, когда Фрося выйдет замуж за другого, может, и возвратится. Нужен он ей, такой калека, как собаке сапог. И нет иного выхода. Для кого-то другого, а не для него будет Фрося с подругами в пятницу, за два дня до венчания, печь каравай... Он глотнул жесткий ком, стоящий в горле.

— Неверно надумал,— настаивает Евсей,— вся жизнь у тебя впереди...

К утру дождь прошел, двинулись было дальше, да неожиданно подморозило, и неподкованные волю, заскользив по наледи, стали падать. Пришлось снова делать привал.

Но вот наконец взгляду открылась гряда холмов на правом берегу Днепра.

Евсей остановил артель. Над Киевом предвечернее небо походило на раскаленное железо в окалине. Призывно блестели купола Софии, словно торопили прибавить шаг.

Пахло привялым сеном, омытыми рекой травами. По водной глади то и дело проходили зеленовато-синие, розовые, серебристые тени.

Сердце дрогнуло: «Дома!»

И этот дальний лес, расцвеченный осенью, и вербы над Днепром — все входило в сердце, сладко обнимало его.

Край родимый. Дошли до тебя, вернулись. И словно бы еще целая жизнь осталась позади. Уже поросли травой холмики над могилами Корнея, Зотки, Фильки, Нестерки, Герасима. Остался в Ирпене Петр...

Дорогой ценой достались возы с солью, что стоят на пороге ждущего их Киева.

— Переодевайся! — приказал атаман ватаге.

В Киев надо было въехать в лучших рубашках и портах, чтоб видели все, как умеют киевляне возвращаться из тяжелого похода, не растеряв в дальних землях, на неведомых дорогах честь.

— Едут, едут! Наши едут! — кричали мальчишки, бросив надутый бычий пузырь, что гоняли, и сбегаясь со всех сторон.

Они восторженно глядели на прокаленное солнцем лицо Ивашки, на то, как степенно шагал он.

Валка шла посередине улицы. Радостно ревели волю. Исступленно лаяли собаки всего Подола, встречая своего собрата Серко, победно шныряющего вдоль обоза. Орал Горластый, зывал к петушинуму племени, и оно не оставалось в долгу.

На улицу высыпали и стар и млад.

— Евсеева валка вернулась! — прикладывая ладонь к уху соседки, прокричала старица старице. — Соль Киеву привезли! Да, везем, везем тебе, Киев, соль! Ни солиночки не просыпали в пути.

Седой как лушь шорник Радован почтительно спросил у Бовкуна:

— В добром здравии? — И, узнав, что в добром, торжественно добавил: — С сегодняшним днем проздравляем! Соли честь воздаем!

Навстречу валке бежала что есть силы Анна, повисла на шее у отца. Марья приветливо помахала им рукой от калитки.

Анна кинулась к Ивашке.

— Братик! — заговорила звонкой скороговоркой, семена рядом. — Я ж рада, я ж рада... А дядя Анфим все в путят-

ских хоромах... Так я побегу щи сварю... Сала кусочек приберегла...

— Ты теки до избы,— разрешил Евсей сыну.— А я возы поставлю во дворе Путяты и тоже приду.— Он подтолкнул дочь.— Ивашка тебе подарки покажет. Теките! — сунул какой-то сверток сыну.

Анна не знала, какая радость ее ждет: красный поясик и сережки!

Фрося стояла у плетня своей хаты ни жива ни мертва, напряженно вглядывалась в обоз. Потом не выдержала, рванулась к Евсею:

— А Петр?

С ужасом смотрела широко раскрытыми глазами на Евсея, руки к груди прижала.

— Погиб?

Он отвел ее в сторону, кратко сказал, как было:

— В Ирпене остался...

Фрося стояла, словно оглушенная. Придя в себя, прошептала:

— Завтра ж туда поеду. На коленях умолять буду, привезу его.

Евсей одобрил:

— Привези, доченька, глупый он...

Раздался душераздирающий крик — заскребла землю пальцами мать Нестерки и Герасима, запричитала:

— Сыночки мои, голубочки, солнышко уже за лесом, а вас все нет... Я ли вас не любила, грубым словечком не сгубила. А теперь никогда мне вас не видывать... Голосу-то вашего не слыхивать...

Возы потянулись на Гору. Мог бы Евсей остановить их у своего двора, припрятать ночью куль с солью, да разве разрешит себе такое?! Нет, ни щепотки ее не утаит, ни гривны не спрячет. Честно рассчитается с ватагой, с Путятой, отдаст ему долг, купит волов, а там, гляди, собьет новую валку, уже сам, без тысяцкого да князя, и поедет на Дон за сушеной рыбой.

Путята встретил Евсея шумливо, ласково, только что не обнимал:

— Ну, дождались, дождались! Я ж, клянусь богом, сказывал князю: «Бовкун огонь и воду минет!» Ну, везите соль на склад: на ночь запрем, а завтра с утра и сочтемся. Все полюбовно, все по совести... Крест святой!

* * *

На следующее утро Евсей вышел во двор спозаранку. Анне и Ивашке разрешил еще поспать: их головы мирно покоились рядом на узком валике.

Птичка-соседка наклекала чиликаньем первый снег. Стояло тихое предзимье.

«Надобно с надворья обить дверь соломой, прижать дубьем,— думал Евсей.— Аннуська молодчина: уже заготовила для топки сухой бурьян и камыш, сделала из сушеного помета котяхп. Вишь, перед сенями рогожку даже положила, грязь с ног вытирать».

Настроение у Евсея было хорошее, как у человека, честно исполнившего свой долг. Он шел в гору широким шагом, миновал Прорезную, Кияновскую улицы и в какой уже раз прикидывал, как распорядится заработком, заживет по-новому, вольным человеком.

Путята заставил себя ждать долго. Потом позвал в гридню. Был он сегодня хмур, глядел исподлобья — словно подменили человека. Наконец спросил зло:

— А волов-то сколь в пути оставил?

Евсей посмотрел удивленно.

— Трех... Один от стрелы половецкой пал, другого вепрь одолел, а третий издох, сами не ведаем отчего.

У Путяты запрыгали скулы, пальцы сжались в кулак.

— Не ведаешь? Волов загублять — так ведаешь! А может, ты их, черна душа, продал? Теперь будешь отрабатывать! Не то в холопы продам!

Кровь кинулась в лицо Евсея. Прижав подбородок к груди, он пошел на Путяту, хрипя:

— Это я-то — черна душа? За тобой, злыднем, света не видно!

Путята позвал:

— Стража!

Будто из-под земли выросли дружинники.


— В поруб обманщика! Меня убить хотел...

Всею скрутили руки. Он успел только крикнуть тысяцкому:

— Погоди, за все ответишь! За все!

Ему забили рот кляпом, избивая, поволокли через двор.

ПРАЗДНИК АНФИМА

нфим так увлекся работой, что потерял счет дням. Мастерская, в которую он перенес свой немудреный гранильный станок, деревянные круги для полировки, пилки, сверла, резцы, была небольшой, но с двумя оконцами, затянутыми слюдой. Анфим, привыкший к тому, что дома оконца на ночь задвигались досками, подивился такой роскоши.

Было великим наслаждением давать жизнь тусклому, серому камню, через пленку железа, марганца добираться до его сияющей души. И тогда камень, прежде казавшийся мертвым, оживал, сам рассказывал о тьме веков, из которой пришел, о тайне и совершенстве природы. Он играл сначала робко, переменчиво, как ночные светляки, то выбрасывая свои чистые лучики, то вбирая их. Потом вдруг свет победно вырывался на свободу: фиолетовый — из аметиста, вишневый, жаркий — из альмандина, золотистый, в чешуйках железного блеска, — из солнечного камня. Краски живых цветов и цвета пустыни... Желтый — веселый, как огонек лучины у них в избе в зимний вечер. Мягкий зеленый — похож на глаза его дочерей. Для каждого камня, чтобы он заговорил, надо было избрать свою особую огранку: розой ли, каплей, пчелиной сотой или клином. В детстве отец

учил Анфима распознавать природу камня, его твердость, цвет, блеск.

Блеск бывал то жирным, то восковым, то шелковистым, то как смоль.

Переливы, похожие на тигровые и кошачьи глаза, заставляли сердце биться учащенной от радости.

Отец никогда не называл камни драгоценностями, а только самоцветами. Анфим теперь понимал его. Да, это были лучики света, пробившиеся из тысячелетий. Он никогда не думал о камне, как о несметном богатстве. Как волновался он мальчишкой, делая первые пробы под внимательным взглядом отца. Одно неловкое движение — и надрез, и стерта грань, и все испорчено.

Но у юнца оказалась легкая рука. Движения его были точны и ловки, он научился обнаруживать в камне малейшую трещинку, муть, пузырек. Как музыкант или певец обладает слухом, так и Анфим обладал редкой способностью понимать камень, и это позволяло ему извлекать из самоцвета его то огненную, то нежную душу, добиваться красоты прозрачного, ровного, чистого тона.

Птаха вел с этим живым существом долгие разговоры: хвалил его, корил, поощрял, сердился.

Верил ли Анфим рассказам отца, что аметист спасает от пьяной браги, а изумруд — от морских бурь? Кто знает... Но собственными глазами видел, как янтарь притягивает соломинки, собственными ушами слышал, какой чистый, прекрасный голос у матового нефрита.

Пролетел месяц за месяцем, и наконец красавица шапка была готова. Переливы огней сплетались в яркие радуги, росные зори, звездные россыпи.

Тогда усталый, счастливый Птаха заснул здесь же, в мастерской, на полу, не ведая, что накликать великую беду на свою голову этим трижды проклятым венцом, что в подземелье, рядом, вот уже второй месяц томится друг и сосед Евсей, валяется в углу под сетью, сплетенной пауком.

СМЕРТЬ СВЯТОПОЛКА

Путята не спалось — одолевали суетные мысли. Он пытался отогнать их молитвой, бормотал: «Спаси, господи, Мишку Путяту по неистощимому своему милосердию, очисти мя от грехов!..»

Но в голову лезли земные дела: непослушание непутевой дочки Забавы... обоз Евсея... венец, что делает Анфим.

С венцом князю он тонко надумал. Святополк честолюбив. Почему же не возложить всенародно на его богоизбранную голову шапку-венец?

Путята видел, как возлагали корону на голову византийского императора Алексея I Комнина.

Император вошел в храм через золотые врата. Тысячи огней отражались в соборной утвари. Читал над короной молитву патриарх: «Тебе, единому, царю человеков...» У дворца разбрасывали черни золотые и серебряные монеты.

С этим венцом придумано неплохо... Только бы не испоганил драгоценные камни Анфим.

Но к лицу ли великому властителю Руси и потомкам его носить на главе венец, сделанный руками какого-то Птахи?

Надо пустить слух, что венец в сапфирах и изумрудах — необычный, что носил его сам вавилонский царь Навуходоносор и сотворен он богом. У ворот Вавилона венец охранял чудовищный змей с чешуей, как волны морские. Через змея того на городскую стену была перекинута лестница. Змей задушил всех дерзких, только один, по имени Правда, добыл венец. И вот теперь византийский император прислал его в Киев Святополку со словами: «Ты от Августа-кесаря род ведешь».

Чье сердце не затрепещет при виде подобного венца?! Руси надобно знамя, а знаменем тем должен быть великий князь...

Да вот мало величия у этого ничтожного Святополка — больше воображает, чем соображает. Как баба занимается своей внешностью: выпыщывает брови, прикрывает плепивину накладкой из волос...

Но Путята считал выгодным для себя оставаться в княжеской тени, как считал выгодным быть в тени и при отце Святополка — Изяславе. Не всяк умеет извлекать для себя пользу, не бросаясь в глаза...

«Сделает Анфим венец — надобно будет приказать Свиблу придушить гранильщика», — решил Путята.

Постельничьему Свиблу он доверял самые тайные дела: подсыпать кому следует в пищу ядовитый порошок, накинуть кому надо петлю на шею и с камнем бросить в Днепр...

«О господи, взываю к тебе, услышь мя, Мишку Путяту, вонми гласу моления моего...»

В сенях послышались быстрые шаги Свибла. Он открыл дверь, подошел к ложу. Тусклый свет лампы делал Свибла еще длиннее и сутулее обычного.

— Вночесь за Вышегородом¹ князь Святополк помер. Сердце разорвалось... — сказал он. — Ладьей в Киев привезли.

Путята резко вскочил на ноги. Первой мыслью его было: «Власть-то теперь кому? Можно подхватить ее, да не удержишь. Кто из князей потерпит...» Он сам удивился внезапно вспыхнувшему желанию. Усмехнулся. «Силен бес любоначалия. А надобно благо плывучи помнить о буре. Да и не всегда власть у того, кто на престоле сидит. Почему не стать слугою третьего государя? Кому ни служи — лишь бы себе. Кто прост — тому бобровый хвост, а кто хитер — тому весь бобер».

И опять замельтешила вроде бы пустячная в такой миг забота: «Венец Птахи можно попридержать для нового князя... чтоб оценил... Кто им будет? Не иначе Мономах».

Владимира Мономаха ненавидел за ум, силу, воинское умение.

Покойник же был неумен, жаден без меры, даже Печерский монастырь ограбил, вывез оттуда соль и втридорога продал ее. Правда, напентал ему то сделать сам Путята.

А как падок был на угодливое ласкательство, как поощрял наговорщиков, любил поддакивателей и похвальбу. Даже тем выхвалялся, что у него, вишь, родимые пятна на груди разброса-

¹ 12 км севернее Киева.

ло, точь-в-точь как звезды Большой Медведицы. Видел в том особое знамение.

А у самого дури больше, чем звезд на небе: не пустил соль из Галича в Киев... С боярином Саввой Мордатом хватал недругов, языки каленым железом прижигал, выводывал, где соль припрятана. Виданное ли то дело: сам деньги в рост давал, с ним, своим тысяцким, вступил, сребролюбец, в долю, отправляя Евсея. Ну, да наконец извел себя тайным пьянством, кот шkodливый; теперь весь Евсеев обоз — его, Путята...

Святополк лежит на лавке в большой гридне. Путята кажется, что князь притаился и сейчас вскочит, начнет обвинять собравшихся в измене, повелит одного бросить в поруб, другого удушить.

При жизни был он высок, сух, черноволос. Лицо можно было назвать даже красивым, если бы не темные пятна на нем. А сейчас лежит разбухший, с седыми прядями в бороде. Пятна на лице стали еще резче.

Рядом убивается жена — коротконогая толстуха.

«Притворяется,— недоверчиво смотрит на нее Путята,— нашла по ком слезы лить».

Была она дочерью половецкого хана Тугоркана. Взял ее Святополк в жены, когда бой проиграл и вынужден был купить мир.

Все в этой женщине теперь поблекло: волосы, лицо. Только глаза не поддавались времени, были еще живыми.

«Видно, к смерти князя в прошлый месяц было знамение на солнце¹: в час дня осталось его немного, в виде месяца книзу рогами,— думает тысяцкий,— а потом небо неспроста прочертила длинноволосая звезда».

...Похороны Святополка устроили пышные. Родственники, бояре, слуги в черном платье, черных шапках несли гроб к монастырю.

Впереди гроба слуга вел княжьего коня, а Путята нес знамя. Вокруг—молчаливая, мрачная толпа оборванных нищих, калек.

¹ Солнечное затмение 19 марта 1113 года.

Гроб поставили на помост, воткнули рядом копьё князя.
Жена Святополка, боязливо поглядывая на нищую толпу, начала разбрасывать богатую милостыню.

К Путяте протиснулся Свибл, прошептал на ухо:

— На Подоле шум в людях...

— Сзывай после похорон думцев в Софийский собор... Евтихия Беззубого, Капитона Жребца... Астафия Цветного...

...Смышленные мужья собрались в задней, малой, клетушке собора. Слышались тревожные возгласы:

— Голоколенники только и ждут, чтоб больших мужей перебить...

— Тогда удержи волка за уши!

— Послать ко Владимиру, чтоб сел на дедов и отцов¹ стол!

Путята прекратил галдеж:

— Звать князя Владимира надо немедленно! Поклониться: скорей иди на Киев, пока всех бояр не порушили, не разграбили...

С ним согласились: воистину, надо немедленно посылать гонца к Владимиру Мономаху в Переяславль. На этом сходились все до единого: позвать именно Владимира. Не однажды был он в лютых бранях с половцами, доходил до моря Сурожского, завоевал половецкие города на Северском Донце, брал в плен за один раз по двадцать ханов, оттеснил поганцев в степи.

Еще позапрошлым годом, когда половцы стучали саблями в Золотые ворота Киева, Мономах не только отогнал их, но и взял ханскую столицу Шурукань². Эта весть быстрее птицы полетела к чехам, уграм³, ляхам⁴, домчалась до Рима — о ней услышали все концы земли.

Да, именно Владимира Мономаха и надо звать.

— Он с митрополитом в любви, церкви украшает...

— Щит для нас...

— Слава русичей...

И впрямь, во всем мире его знали: дочь Марию выдал за

¹ Отец Владимира Мономаха — Всеволод, дед — Ярослав Мудрый.

² В окрестностях нынешнего Харькова.

³ У г р ы — венгры.

⁴ Л я х и — поляки.

Леона — сына греческого императора Романа Диогена. Дочь Евлампию в прошлом году — за угрского короля Коломана. Старший сын, Мстислав, был женат на дочери шведского короля — Христине.

Да, именно Мономах усмирит чернь и не даст в обиду своих.

После совета думцев Путята в хоромаш сказал Свиблу:

— Анфима-то ночью... — сжал волосатые пальцы, показывая, что именно надо сделать. — Женке его скажи: «Сбежал твой муж с камнями бесценными неведомо куда...»

Свибл понятиливо кивнул.

Путята подумал с усмешкой: «И стала шапка вавилонской. Все мастер! Только и поминки по тебе — вороний грай. Да и Евсея — властонавидца — пора кончать».

Свибл у тысяцкого был не только постельничьим, но и про-верщиком кушаний — не отравлены ли? Не раз подумывал: «Тебе б и впрямь подсыпать яду, пока меня в преисподнюю за собой не уволок».

Путяту возненавидел давно, еще в юные годы, когда тот, похваляясь, при гостях приказал слуге прижать ладонь с растопыренными пальцами к дереву, а сам издали стрелял из лука, и стрелы впивались меж пальцев Свибла.

...Ветер донес тревожный звон колокола. Путята нахмурился.

Свибл, вытянув длинную жилистую шею, напряженно прислушался, подумал: «Как бы не по наши души».

Покорно склонившись, вышел из горницы.

ГНЕВ ПРАВЕДНЫЙ

После возвращения Евсеевой валки давно прошли семь метелей с семью морозами, от которых трещали плетни; откатали снежных баб юные киевляне, отыграли в снежки.

Но вот на пролесках цветы лилового ряста смонили голубые колокольца, проковыляли по зеленым лугам стреноженные, отощавшие за зиму кони, и дед-пасечник, достав

из погребца на пробу один улей, выставил его на солнце со словами: «Грейтесь, чада мои...»

А там загумел вербохлест, когда матери, купая в вербном отваре детей своих болезненных, просили: «Дай тела на эти кости», и девочки секли дружков лозой в белых барашках, приговаривая:

Верба хлест,
Бей до слез!
Будь здоровый,
Как вода,
А богатый,
Как земля!

Радоваться бы Ивашке и Анне приходу весны, а радости не было. Что с отцом? И как жить дальше?

С осени морозы убили всю озимь. Бывало, в добрые годы вымахивала она — заяц мог укрыться. А ныне сердце у киевлян разрывалось глядеть.

Кто имел хлеб — придержал его, понимая, что впереди еще больший голод; цены на жито возросли почти в двадцать раз. Люди гибли как мухи. Мыши днем с писком вылезали из подполья в поисках крох.

Ивашку и Анну спасали от голода артельщики Евсеевой валки. Им Путята выдал немного соли и жита, чтобы рты заткнуть. О Евсее же сказал:

— На власть руку поднял! В двух кулях на дне соль песком заменил... Отсидит свое.

Такое наговорить на Евсея!

Иван привез Евсеевым детям кадь муки, хотя у него самого были престарелые родители. Осташка — горстку соли. По секрету Хохря сказал Ивашке, что отец его сидит в дальнем углу Путятова двора, в подземелье.

— Пчела ужалит — гибнет, — с горечью произнес он. — Путята ужалит — еще злее становится. Во лжи Киев погряз...

Ивашку не порадовал даже подарок Хохри — рыжий голубь с вихрами по обе стороны шеи, не до него было,

Весной Ивашка выгреб лаз под стену Путятова двора; прополз в его дальний угол. Еще издали увидел на каменном, врытом в землю погребу зеленую дверь с большим кольцом. Возле двери прохаживался стражник.

Ивашка притаился. «Как же батяню выручить от продов? Как? — лихорадочно думал он. — Томится сейчас в подземелье». Ивашка с необыкновенной ясностью увидел его лицо: пшеничные волосы, родинку-вишню чуть пониже правого уха. Даже голос его слышал. «Ты пеши идти можешь?» — спрашивал отец в дороге. «Ага». — «Что за агакало?» — усмехался он. А когда за миской со щами сидели, говорил укоризненно: «Не мляцкай жуючи!»

Подул сильный ветер — верно, зашабашили ведьмы на Лысой горе. Надо было пробираться назад, к лазу, скрыть его.

Теперь Ивашка каждый день приползал к погребу с зеленой дверью, все смотрел: может, стражник куда отлучится? Может, отца выведут?

Потом зашел к ним в избу возвратившийся из Ирпеня Петр, простучав костылями, сел на лавку.

Вслушав рассказ Ивашки, скрежетнул зубами:

— Жизни от них, кровопийцев, нету!

Долго сидел молча, тяжело уставившись в земляной пол.

Наконец глухо сказал:

— Чтoб тому Путяте, псу смердящему, руки скорчило, грудь забило, чтoб он в старцах счастья не имел. — Перевел дыхание. — Сказал бы покрепче слово, да не хочу печь гневить...

Великое уважение к печи, как к живому существу, очагу, собирающему семью, глубоко сидело в каждом киевлянине: в ней огонь, сама жизнь. Потому, когда приходили сваты, девушка бросалась колупать печь-защитницу; потому, возвращаясь с похорон, клал киевлянин — чтобы очиститься — руку на печь. Печную золу относил на капустные грядки; подмешивал к воде для хворого; сыпал на рану. Считал грехом садиться на печь, когда в ней пекся хлеб, гостю предоставлял самое почетное «большое место» — возле печи.

Петр пошел к выходу. Еще не умолк стук костылей, как Аяна заметила на лавке сверток: в красиво вышитый рушник было завернуто несколько черных лепешек — не иначе Фрося при-слала.

В новый шум на Подольем торгу Ивашка оказался там.

Посадский человек Еремка покупал соль у торгоша Астафия и обнаружил в ней пепел.

— Кияне, — закричал Еремка с рыданием в голосе, — последнюю соль пеплом заменяют!

Сразу собралась толпа.

— Ты где соль брал? — наступал на Астафия Еремка, и жилистая шея его вытягивалась, как у петуха. — Я с тебя душу вытряхну!

Астафий оробел.

— Дак мне ее монах Прохор из Лавры продал. Вот не сойти с места.

— Все они за един!

— Дороговизна день ото дня! К хлебу не доступишься!

— Живодеры! Последнюю корку изо рта рвут!

— Выжечь пакостные гнезда!

— Делатель с голода мрет!

Сквозь толпу на коне протиснулся сотник Виращ — правая рука Путяты. Строго спросил, наезжая на собравшихся:

— Эй-эй, чего галдите?

Еремка подскочил к сотнику, рывком сдернул его за ноги с коня. Толпа навалилась, стала бить Вираща кто чем.

В ту пору, на беду свою, мимо ехал боярин Савва Мордатый.

Ему сразу припомнили и что людей мучил на подворье, и соль скупал, прятал, и деньги в рост давал. В Савву полетели камни, потом тоже с коня стащили.

— Брюхо ему распороть да пеплом набить!

— Спесь на сердце нарастил! Сколько семей на голод обрек!

Мордатый, прикрывая руками плешь, запричитал, чуть не плача:

— Род-то мой не низьте...

Это еще более обозлило толпу:

— Гордился боров щетиной, да опалили!

— Соль и хлеб прячут, кабалят за долги, а ты род их почитай! Бей всех до единого!

На высокий воз вскарабкался Петр, уперся костылем в край воза.

— Чо стоите как кожухи дубленые? Вяжи Мордатого к колокольне на поруганье, чтоб людей не переводил!

Сотни ртов закричали:

— Вяжи!

И сразу руки потянулись к Савве, потащили его по лестнице наверх, там привязали веревкой к столбу, зазвонили в колокола.

— На Лавру пошли!

— На Гору!

— Пожгем им жизни!

— Неправду творят злочинщики!

— Всех переобидели!

— Душат убогих, змии!

Кто был на Торговище — черный люд, смерды из боярских вотчин вокруг Киева, поденщики, — бросились к ненавистному Печерскому монастырю. Знали, что здесь тоже скупали соль и перепродавали втридорога; подмешивали в нее тертую золу и пепел; знали, что возле игумена Феоктиста околачивается полно бевдельников: domestnik¹, эконо², келарь³, ключник⁴, начальник хлебопеков, бесчисленные слуги.

— Развел вкруг себя вошь!

— Дармоеды! Морды нажрали! — рычала толпа.

— Где черный люд — там бога не видно!

Толпа миновала пещеры в отвесных скалах, гулко прошла по мосту, нависшему над пропастью, и вкатилась в опустевший

¹ Доместник — управляющий хором в церкви.

² Эконом ведает казной и имуществом.

³ Келарь распоряжается пищевыми припасами.

⁴ Ключник — помощник келаря.

двор Печерской обители. Здесь все в страхе попрятались по своим порам. Да их и не трогали, раз хвосты поджали.

Люд ворвался в погреба, амбары, стал делить соль, хлеб. Растоптав кадильницы, ободрав иконы, прихватив с собой кресты, толпа подожгла монастырь и повалила к Киеву. Бежали вверх узкими улицами ко двору Путяты.

— Смерть пролазнику!

— Бесчестье в бороду не упрячешь!

— Чтoб ему вороны очи выдрали... Сам купу набавляет!

— Пустить красного петуха, нехай по жердочке побежит, на кровле запоет.

Торопливо закрывали свои лавки торговцы. Бояре с семьями искали защиты в княжеском дворе. Самые перепуганные из них уже причащались. Шептали испуганно:

— Черные люди и закупы в заговор скопом пошли...

— Крамола кругом.

— Двор боярина Нечая Ряхи горит...

— Как мятеж утолить?

Двор Путяты что твой замок. Обнесены высокой стеной хоромы, скотницы¹, бани, погреба с бортовым медом и вином.

Откуда-то вынырнул навстречу толпе Ивашка, тонко закричал:

— Дяденька Петр, я лаз покажу!

Повел за собой к лазу. Его расширили кольями, топорами, и на обезлюдевшем дворе Путяты сразу появилось много гильщиков.

— Дяденька Петр, вон там отец...

Ивашка подбежал к зеленой двери, подергал за железное кольцо. Дверь не поддавалась. Петр подскочил с топором, всунул его меж пазов, налег грудью — и дверь со скрежетом распахнулась. Достали лестницу, опустили ее в яму. На свет вылез заросший Евсей — сразу понял, что происходит.

— Пошли, граждане, покажу, где соль упрятана, сам ее туда свозил.

¹ Скотница — казнохранилище.

Чуть пошатываясь, опираясь о плечо сына, повел толпу в противоположный угол двора. Указывая на склад, сказал:

— Берите законное!

И голос надрывный произнес с отчаянием:

— Изнемогли без соли!

Пока разбирали соль и зерно, громили хоромы, пока Петр подрубал деревянные столбы — подпоры боярского крыльца, — Путята, сунув за пазуху венец, через подземный ход пробрался в княжий двор, охраняемый дружиной.

В сенях, повстречав растерянную княгиню, сказал:

— Ноне ж к Мономаху в Переяславль поскачу. Быть того не может, чтоб не выручил он Киев.

Приказал двум десяткам воинов немедленно готовиться к выезду. Сам же понес к митрополиту Никифору шапку-венец — на сохранение.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ ПРИНИМАЕТ ГОНЦОВ



казывают, Переяславль назвали так потому, что давно неказистый юноша Кожемяка «переял славу» у печенежского богатыря.

У Переяславля же начиналась и Половецкая степь. Мономах выстроил себе замок на Переяславском холме. Замок с подземными ходами, рвом, подъемным мостом, башнями, внутренним двором, похожим на широкий колодец.

Под стеной стояли очаги для стражников, чтобы грелись, неся службу в лютый холод. Подземелья, клетки-кладовые хранили запасы рыбы, вина; подвальные чаны — воду и зерно на многие месяцы, а вдоль крепостных стен ждали свой черед медные котлы для «вара» — обливать осаждающих кипятком. В углу двора притаилась небольшая церковь, крытая свинцом.

Путь к дворцу Мономаха лежал через башню в парадный двор, на котором в три яруса возвышались терема.

Внизу расположилась челядь, по второму, парадному ярусу проходила широкая галерея — сени, украшенные рогами туров, щитами и мечами. На самом же верху жались девичьи горенки.

В одной из палат второго кольца сидели сейчас за шахматной доской Владимир Мономах и переяславский боярин Нажира.

Владимир одет по-домашнему: в простенький темный кафтан, в сапоги из неяркого сафьяна. Только и украшения — нагрудная цепь из золота, а на ней — круглый амулет: коренастый архангел Михаил с длинными тяжелыми крыльями.

Владимир задумчиво теребит широкую вьющуюся бороду. У него густые волосы, словно бы с ржавчиной, тонкий, с горбинкой, нос.

Боярин Нажира сидит как на иголках — так не терпится ему одолеть князя. Во всей Киевской земле никто лучше Нажиры не играет в шахматы: осторожно, расчетливо, гибко. От нетерпения Нажира мелкими зубами покусывает свою пухлую руку. Человек боязливый, кроткого нрава, в игре он преображается — весь словно подбирается для прыжка. Выиграв у своего противника — боярина, неизменно заставляет его в наказание лезть под стол и тут уж не идет ни на какие уступки.

Мономах с резким стуком сбивает воина Нажиры своим косяным гривастым конем. Будто самого Нажиру свирепо подкашивает под корень.

«Надобно наступать,— думает князь.— И половцев я побеждал наступлением. Потому разгромил их тогда у Зарубинского брода ¹, убил хана Тугорткана. Всегда не медлил, а сам искал боя. Воды Сулы и Псела, Хорола и Ворсклы, Сала и Трубежа подтвердят то. Девятнадцать раз половцы запрашивали мир, обещали жить в одно сердце.— Усмехнулся похвальбе: всякая старина свою плешь хвалит.— Мысль переметнулась на другое: — А сколько за жизнь пути покрыто на коне... Первый раз, когда проехал из Переяславля в Ростов сквозь вятичей и глухие леса, мне и шестнадцати лет не было... За день мог прискакать к отцу в Киев из Чернигова, меняя коней...»

«Мудр-мудр, а перехитрю я тебя,— внутренне ликует Нажи-

¹ На Днепре.

ра, предвкушая, как через четыре хода выиграет он у князя его ладью под парусом. — Перехитрю, хоть и знаешь ты полдюжины языков и сам ловушки строить умеешь. Вон твои тысяцкие¹ без дела стоят, а я к ним подкрадусь...

Белое, как творог, лицо Нажиры становится еще блее от волнения. Он остороженько, одним пальцем подталкивает вперед своего пешего воина. Словно бы приободряет его: «Не бойся, действуй, я у тебя за спиной».

Мономах надолго задумывается. Да, надо уметь рассчитывать наперед, как и в жизни.

Ведь вот в свое время вывел он из игры Олега Святославича, оттеснил Ростиславичей, привел в Киев свою тетку, вдову Изяслава, забрал имущество ее сына Ярополка. И все это наперед обдумал.

А кто убрал с пути владими́ро-волы́нского князя Ярослава Святополчича? Кто приказал рассечь на куски взятого в плен половецкого князя Белдюза! Правда, надобно считаться с людской молвой, и потому на людях проливал он, Владимир, слезы по ослепленному Васильку... А потом наградил Святополка Волынью, а Васильку отказал в пристанище. Что поделаешь — дальновидство...

Мономах резко сбил еще одного воя Нажиры. Боярин мгновенно, словно боясь, что Мономах возьмет ход назад, передвинул своего всадника: казалось, у того сверкнули доспехи.

— Бережи королеву!

Да, королеву надо беречь, а он плохо берет Гиту.

Первая его жена — Гита — была дочерью английского короля Гаральда, погибшего в битве при Гастингсе.

Десятилетняя Гита, после гибели отца, с бабушкой и теткой нашла пристанище у короля Дании Свена.

Через восемь лет ее и взял в жены Владимир, привез тоненькую, с нежным румянцем на щеках, синеокою. Он был старше ее на пять лет. Гита тяжело перенесла дальнейшее путешествие по морю, Неве, Ладожскому озеру, Волхову. Да и приживалась на славянской земле трудно. Владимир только-только привез ее и

¹ Здесь офицеры, или слоны.

оставил у отца на семь месяцев, сам ушел помогать ляхам. К его возвращению Гита родила первенца — Мстислава.

Свекор неплохо относился к ней, но чужбина, с ее непонятной речью и обычаями, сделала Гиту замкнутой, и лишь когда появлялся в доме Владимир, она немного оттаивала. Так и умерла молодой¹ в Смоленске.

Да, королеву надо было беречь...

Он рассеянно делает ход, и Нажира чуть не подскакивает от удовольствия: «Попался! Благодарю бога, что сан спасает тебя и не полезешь под стол...»

Нажира с тыла врывается в расположение Мономаховых войск и всадником угрожает одновременно двум ладьям, словно приспустившим паруса. Потирая маленькими пухлыми руками полные колени, приговаривает елейно:

— Обмысленно... Все след делать обмысленно...

Мономах сердится на себя за неточность, огорчен так, будто проигрывает настоящий бой. Ему становится противным этот пропитанный чесноком Нажира... Так бы и смел все фигуры с доски! Он сегодня слишком рассеян и отвлекается.

А может, сказываются годы? Шестидесят второй пошел. Позавчера выпал первый зуб. В пору панихиду служить. Это — начало конца. Потом поседеют волосы, притупится зрение, Печальный удел!

Нажира осторожно, будто опасаясь малейшего стука, ставит коня на доску сверху вниз, вкрадчиво объявляет:

— А королю-то все пути отрезаны. Амины!

В спальню свою — ложницу — Владимир возвратился раздраженным. Подошел к поставцу, освежил голову и бороду холодцом — настоем мяты, прополоскал рот ароматной водой, зубы протер влажным рушником.

Чтобы успокоиться, взял в руки псалтырь. Любил, загадывая, открывать первую попавшуюся страницу и читать строчку — ответ. Или из букв в начале строк составлять его. Он даже делил буквы на добрые и лихие.

¹ На 31-м году жизни.

Вот и сейчас в псалме загадал одиннадцатую строчку сверху.
«Что печалуешься ты, душа моя, что смущаешься?»

Когда-то, прочитав эти строки, написал он «Поучение» сыновьям, призывая к покаянию, слезам и милостыне, учил «судить по правде», «считать ни во что почет ото всех».

Что лукавить перед собой: не только для сыновей расписывал он тогда труды свои, походы и добродетели, а и для того, чтобы потомки знали, каким был Мономах.

Видимость и сущность... Вечное бореие меж ними. Пишущий законы — выше законов.

Владимир погладил амулет на груди. Вот лицо на амулете. Все пристойно, величественно: архангел с державой в левой руке...

А на оборотной стороне, скрытой от всех глаз, — женщина, у которой вместо плеч и рук — змеиные головы, вместо ног — скрученные змеи... Даже из головы выползают они. Что означает это? Злой недуг в человеке? Тайный умысел? Коварство? Видимость и истинное существо? Может быть, это тайный смысл его жизни? Быть и казаться! И что есть человек, как помыслишь о нем, литерат Мономах?

Но кто скажет, что мало сделал ты для отчины? Что не был се страдальцем, тружеником?

Волей своей и властью обуздывал ближников, кто — только дай потворство — на куски раздергают Киевскую Русь.

Разве не ходил трижды походами мирными, небывалыми в земли Ростово-Суздальские? Не закладывал там град, первые каменные соборы, а что еще важнее — твердую княжескую власть? И это тоже деянье твое, литерат Мономах!

...Утром князю доложили, что из Киева прискакал тысяцкий Путята.

Боярина этого Мономах знал давно, но никогда не считал верным человеком. Так, перевертыш, лстивый пролазник, лютого продаст за ногату¹, хотя в ратных делах неплох.

От верных людей Владимиру сразу стало известно о смерти

¹ Н о г а т а — монета.

Святополка, о беспокойствии в киевских низах. Да и прискакавшие гонцы то подтвердили. Про себя Мономах решил отчий трон никому не уступать. Но полагал, что следовало сделать вид, будто идет на это ему ненадобное и обременительное дело с большой неохотой.

Путята предстал перед ним и скороговоркой, заглатывая слова, стал говорить:

— Возгорелась ярость на нас... Хотят поглотить... Рады б всех в Днепре потопить... Монастыри пограбили, теперь за дворцом черед... За княгиней Святополковой... Защити от злодеев кровожадных!

Мономах не сразу ответил, долго молчал, потом начал отвечать: мол, разве свет на нем, Владимире, клином сошелся? И лишь затем, не скоро, произнес, словно сожалея:

— Видно, некуда мне деться, надо на помощь спешить... Где сила — там и закон. Только, надеюсь, вскоре пощадят мою старость...

Глаза Путаты выпрашивали: «Мне-то, мне для себя чего ждать?»

Будто отвечая на этот молчаливый вопрос, Владимир загадочно улыбнулся:

— Быть слугой трех господ не утомительно ли?

А про себя решил: «Тысяцким в Киеве надобно поставить Ратибора».

— Так сегодня ж и выступим, — сказал Мономах, давая понять, что разговор окончен.

ШАПКА МОНОМАХА

За день до въезда в Киев собрал Мономах тайный совет в селе Берестове, на правом берегу Днепра. Село стояло в часе небыстрой ходьбы от Киева, за лесом, где любили охотиться князья. Почти два десятилетия тому назад этот родовой дворец сжег свирепый половецкий хан Боняк. Но вот отстроили замок вновь, еще

лучше прежнего, а неподалеку возвели каменные строения Успенского собора, церковь Ивана Предтечи, посадили ореховую рощу.

Выждав, пока все усядутся, Мономах пытливо оглядел каждого темными, словно что-то выведывающими глазами. Да и впрямь решал для себя: можно ли положиться на тех, кто перед ним?

Будто проглотив кол, сидит новый тысяцкий Киева Ратибор — недавний посадник Тмутаракани. Ну, этот не единожды проверен. Проверен еще восемнадцать лет назад, когда пришли к Владимиру половецкие ханы Итларь и Китан заключать мир и Мономах — для отвода глаз — давал присягу, ел соль из одной солонки, крест целовал, что за мир, что рад гостям...

А ночью боярин Славета убил Китана, Итларя же наутро пригласил в избу позавтракать. И сын воеводы Ратибора — Ельбех — из дыры в крыше пустил стрелу в сердце Итларя. Перебил и свиту.

Мономах еще раз поглядел на сурового Ратибора: жесткие короткие волосы, тонкие ноздри похожего на клюв носа, напряженное выражение лица — словно вобрал в грудь воздух и не решается выдохнуть.

По лику, как по раскрытой книге, можно читать характер. Мономах с юности старался осилить эту науку, еще в древности называемую физиогномикой.

Рядом с Ратибором — белгородский тысяцкий Прокопий. Толстые губы легковера, очень ранняя седина тщеславного, велеречивого человека. А в правом углу гридни присмирел Нажира. «Может, его и понапрасну с собой волоку? Да уж больно умен в делах денежных и торговых. А не хитрю ль: взял в Киев, чтобы отыгаться в шахматы?»

У боярина Иванко Чудиновича из Чернигова — раздвоенный подбородок правдолюбца. Такого надобно под приглядом держать. О чем, интересно, он переговаривается с соседом?

Мономах приподнялся, едва прикоснулся тонкими пальцами к амулету на груди.

— Допрже чем в Киев вступать, хочу, думцы, совет дер-

жать: как нам власть укрепить, поганску муть осилить? Вот послушайте новый закон... Устав о резах и закупах...

Мономах предлагал не превращать закупа за долги в холопа, не продавать его, бить «только за дело», брать за ссуду не более двадцати процентов годовых, запретить перепродажу соли, всячески помогать купцам, потерявшим товары при кораблекрушениях, от набега, при пожаре.

— «А кто взял прежде долг из пятидесяти резов годовых,— продолжал читать Владимир,— и уже уплатил эти резы за три года, тот вовсе освобождается от возврата долга».

Ратибор с сомнением крикнул:

— Надо ль так черни мирволить?

Мономах прервал чтение:

— Уступи в малом — сохранишь большое. И еще надобно с гражданами ряду заключить: вроде б сами они теперь станут назначать тиуна и тысяцкого.

Иванко Чудинович строптиво вскинул патлатую голову.

— Если верить Плутарху...¹ — с тонкой улыбкой посмотрел Мономах на Иванко, и тот преданно выпучил глаза,— если верить Плутарху, города имеют столько свободы, сколько им дают императоры...

Он снова, теперь пристально, посмотрел на Иванко: дошло ли, поймет ли? Сказал, уже обращаясь ко всем:

— Мудрость нам, стратиги, надобна.— Провел рукой по высокому смуглому лбу.— Дальновидство...

Нажира кашлянул, подтверждая... «Этот тихоня их всех умнее...» — прищурился Мономах.

— Хочешь воз соли сохранить — отдай щепоть. Крохами можно в стане вражьем единомушке разбить...

Ночью под охраной в Киев въехал обоз с княжеским добром: бесчисленными железными сундуками, наполненными драгоценными камнями, золотой роскошной посудой, гербами, пергаментами. На дне иных возов — хитрые погребцы, заморские вина. Важно восседал повар Харлампий, оглядывая свое хозяйство.

¹ Плутарх — греческий писатель, философ (I—II вв.).

Потом проследовали возы со святостями: алтариком из кипарисового дерева с изображением святых угодников, иконами, книгами в искусном окладе, мощами, тюленьими шкурами, спасающими от молнии¹ и, наконец, возок с лыжами — Владимир любил зимой ходить на них. Сам Мономах со свитой двинулся к городу в десятом часу утра.

Еще издали засияли купола Софийского собора, донесся звон сотен церквей. Подавала голос мать городов русских.

«Шутка сказать, — с гордостью думал Владимир, мерно покачиваясь в седле, — одних церквей, считай, сотни четыре! С киевской высоты видны многие места... И кто знает, может быть, дам городу имя свое».

В памяти возникли расписные стены Софийского собора — сколько раз благоговейно взирав на них: посреди широкого карниза два ангела в белых хитонах осеняли трапезу. А вдоль лестницы башни иная роспись: волк, бросающийся на всадника, охота на вепря, на дикого коня, белка-веверица на дереве, а внизу, возле охотников, беснующаяся собака.

С детства знакомые и милые сердцу картины. Скоро взойдет он на ступени Софийского собора...

Вавакали перепела на пустошах, тревожно кричали удода за Оболонью, повела свой счет зозуля у Перевесища.

Соловей прочищал голос в белых садах возле Лядских ворот: он еще не пел, только цвиринькал, как обыкновенная птаха.

Начала свою игру, зарезвилась киевская весна! Весело побулькивал, пробираясь оврагом, Глубочицкий ручей; исходила теплым духом, как подовый пирог, дорога на Вышгород; сквозь прошлогодний лист на Вздыхальницкой горе пробивалась зеленая трава. Солнце будто выкупалось в дождях и молниях.

Днепр подступал к избам и, оставляя кое-где зеленые островки, торопился дальше. У берега вода его белеса, словно стоячее море, а вдали растекалась темными волнами.

На весенних площадях Горы глашатаи кричали:

¹ В то время верили, что тюленья и орла молнии никогда не поражает.

— Отец княз, великий Мономах, — наследник Византии!

За городом Мономаха встретил митрополит — грек Никифор — с епископами. На митрополите — златотканая одежда. Певчие выводят высокие ноты, усердно кадит знаменитый дьякон Афиноген:

— Ныне и присно, и во веки веков — аминь!

У дьякона голосище силы невиданной. Укреплял он его тем, что цел по утрам, лежа на спине с камнем на груди.

Крестный ход двинулся к площади у Софийского собора.

Здесь уже собрался народ; те, кто недавно громили боярские хоромы, притаились в толпе, присматриваясь: чего ждать от новоявленного князя?

Именитые поднесли Мономаху на расшитых рушниках каравай хлеба и доверху наполненную солонку.

Евсей, стоявший на бугре, недобро усмехнулся, сказал Петру:

— Снова мимо нас пронесли.

Ивашка во все глаза глядит на площадь.

Вон, возле князя, молодой сын его — Юрий Долгорукий.

К ним подошли бояре, кланяются...

— Ты — наш князь. Где узрим твой стяг — там и мы с тобой, — доносится до Ивашки.

На Мономахе — синие сапоги, синее корзно¹, у правого плеча застежка.

Мономах кричит, на непокрытой голове видны метины, будто чьи-то когти вырвали в двух местах клочья волос. Сказывают, то на охоте прыгал на него барс, лапой разорвал голову.

Князь идет медленно, торжественно, глаза его смотрят твердо, левая рука без двух пальцев — потерял в бою с половцами — покоится на груди. Вот остановился. Митрополит благословляет его крестом, читает молитву, возлагает чудо-венец², и Владимир, словно под тяжестью, пригибает голову.

¹ Корзно — длинный плащ.

² Здесь имеется в виду не «шапка Мономаха», что хранится сейчас в Оружейной палате. Предполагают, что ныне существующая подарена ханом Узбеком Ивану Калите, как тубетейка, а затем была видоизменена.

— Тебе, хранящему истину, творящему суд и вправду посередь земли!

— Венец от Августа-кесаря! — кричат глашатаи.

До Ивашки неясно доходят слова митрополита:

— Христоролюбивый... Просветил Русскую землю, аки солнце лучи пуская... Братолюбец... Страдалец за Русь... Богоизбранный... Даже сестра твоя родная—Янка, мудрая в книжном деле, открыла в монастыре училищную избу для юниц, сама учит их грамоте, шитью, пению...

«Аннуську б туда,— думает Ивашка.— Да разве примут...»

Выглянуло из-за тучи солнце, и вдруг венец вспыхнул на голове Мономаха золотыми, зелеными, багряными лучами. Марья Птаха глядит с ужасом.

Рубины набухают на венце Мономаха огромными каплями крови... вот-вот скатятся на его лоб...

— Кровью пропитан... Будь проклят навсегда! Кровью...

Пронзительный женский голос взыв тоскливо, с отчаянием:

— Анфима убили!.. Анфима!

Ивашка со страхом оглянулся. Грохнулась наземь тетка Марья.

Тысяцкий Ратибор сквозь зубы приказывает дружиннику:

— Убери безумицу!

Крестный ход двинулся дальше. Исступленно зазвонили колокола. Зловещим пожаром горят камни на венце Мономаха.

Анна и Фрося подбежали к Марье, стали поднимать ее с земли.

— Теть Марь, теть Марь, не надо...— с трудом сдерживая рыдания, просит Анна.— Пойдемте до дому... Не надо...

Два воя оттащили Марью подальше от площади.

Ратибор тихо говорит писцу:

— Читай новый закон!

Круглый, как бочка, писец влез на ступеньки дворца, прокричал трубным голосом:

— Дан сей устав дня апреля двадцатого, года 6621...¹

¹ 1113 год.

Смолкли, словно прислушиваясь, колокола, напряженно вбирала в себя каждое слово толпа.

...Остановился Мономах во дворце своего деда Ярослава Мудрого. Во второй половине дня вызвал Ратибора. Тот явился немедленно, громыхнув на пороге доспехами.

— Бочки с медом на площадь выкатили? — спросил Владимир.

— Вдосталь.

— Нищим милостыню раздают?

— Как приказал.

— Для веселья даров не жалеть!

Мономах помолчал, не поднимая глаз, сказал:

— Купцы пусть соль продают мерной ценой, умалят дорого-визну.

Поднял глаза, и они жестко блеснули.

— А передних воров, люд злонамеренный, завтра же по-реши... Без шума... Недоимки выбирай исподволь. Тут тебе боя-рин Нажира советчик.

Он погладил амулет на груди. Вспомнив, что Путята все еще без дела отсиживается в своем разрушенном доме, распорядился:

— Путяту пошли на степную заставу ратный дух показать... То дело его... Да, чуть не забыл: закажи мне печать новую...

Было их у Мономаха уже не менее двадцати, а любил новые придумывать. И сейчас протянул пергамент, на нем собственной рукой два круга нарисовал. На одном написано: «Печать благороднейшего архонта¹ Руси Мономаха», на другом — верно, обратная сторона печати: «Господи, помози рабу своему, князю русьскому».

— Сильвестр-то в Киев прибыл? — поинтересовался Владимир.

— Токмо.

— Пришли его ко мне.

Игумен Выдубецкого монастыря² Сильвестр был объявлен

¹ Каждый юрьикович был для Византии архонтом — высшим лицом.

² Монастырь, основанный отцом Владимира.

переяславским епископом. Так захотел Владимир, и митрополит в этом ему не отказал. Теперь пришла пора, чтобы Сильвестр по-новому перекроил прежнюю летопись.

Монах Киево-Печерского монастыря Нестор еще в прошлом году написал «Повесть временных лет» — откуда Русская земля стала есть. Он довел летопись до 1110 года и как только мог обелил Святополка. «Льстец придворный, заласканный,— злобно думает о летописце Несторе Мономах.— Надо его имя из летописи вовсе изъять. Пусть Сильвестр заново все составит... Дам ему письмо мое к Олегу Святославичу... мои «Поучения». Разве потомкам не след знать, сколько пота утер я за землю Русскую? И разве нынешнее призвание меня на киевский престол не схоже с призванием Аскольда и Дира? Даже если не было того варяжского призвания, кто скажет, что это — не святая ложь?»

Владимир, отпустив Ратибора, привычно произнес про себя: «Благословением бога отца, и благодатью господа нашего Иисуса Христа, и действием святого духа... По Христову повелению и духа святого строению...»

Кто-то робко постучал в дверь.

— Войди!

Порог переступил худенький черноволосый человек.

— Врачеватель Агапит из монастыря,— представился он.— Митрополит Никифор послал: в полном ли здравии?

Мономах усмехнулся: хотя и седьмой десяток пошел, а здоров, как бык. Вот только на погоду ломало руки и ноги, даже серные ванны не помогли.

И все же заботливость Никифора была приятна.

— Спаси бог. Понадобишься — вызову,— сказал он Агапиту, отпуская его.

НА ПОИСКИ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ



олько на второй день Марья стала приходить в разум, услышала слова Анны:

— Малых кормить надо.

За этим и застала ее Фрося, принесшая кринку с молоком.

Лицо у Фроси осунулось, в глазах — ожидание несчастья: очень боялась она за своего Петра. Дрожащим голосом зашептала Анне, верно, надо было перед кем-то выговориться:

— На расспросные речи во дворец все новых водят... Ставят с очей на очи, пытаются, повинную вымучивают...

В городе и впрямь шла расправа. Гильщиков¹ пятнали², им отрезали языки, отсекали руки. Стража Ратибора без суда связывала заподозренных, сажала на ладьи и ночью топила в Днепре.

В подземелье на открытые раны сыпали соль, кричали:

— Получай как хотел!

Петра дважды пытали огнем, но он ни слова не сказал о Евсее. Дав еще шестьдесят ударов кнутом, отпустили. На улицах Киева тихо и мрачно. Не сходятся на посидки пряжи. Чернеют головешки недавнего пожара. Окаянно воют псы.

...Как-то под вечер в Евсееву избу пробрался Осташка. Всегда веселый, жизнерадостный, на этот раз был он хмур, неразговорчив. Сев на лавку, долго молчал, потом выдал:

— Забирать тебя станут.

У Евсея напряглось лицо:

— Откуда знаешь?

— Троюродный брат у меня во дворце... Схоронись ты лучше до времени...

— Да ведь все едино унюхают. Злая воля стоит палача.

— Это верно — стоит, — согласился Осташка. — Я отцу покойного Корнея сказал... Он тебя спрячет!

¹ Г и л ь щ и к — мятежник; от слова «гиль» — мятеж.

² П я т н а л и — ставили клеймо на левой щеке.

Отец Корнея — Агафон — был лет на десять старше Евсея, рубил прежде, когда силы позволяли, избы киевлянам.

Чтобы в срубленной избе было довольство, клал Агафон в передний угол монету, в другие углы — горсть зерна, кусок воска, шерсть. А скупым тайно вставлял в стену горлышко от кувшина, пицалку тростниковую, и в той избе появлялась «нечистая сила». Когда ставил хоромы сотнику Виращу, приладил под коньком на крыше берестяной ящик, и в ветер слышались крики, плач, вздохи.

Со временем попал Агафон тоже в кабалу, потому и сына отправил в извоз, а сам бедовал, промышляя гончарством — знал и это ремесло.

...Все же увел Осташка Евсея из его избы к Агафону.

Стражники ворвались под утро. Разбудили Ивашку и Анну:

— Где отец?

Ивашка тер глаза, будто спросонья не мог прийти в себя.

— Должно, на рыбалке...

Один стражник остался у избы — весь день там прождал.

Отец же тайно вернулся только на исходе шестой ночи.

— Будем, дети, на Дон уходить. Не жить нам здесь.

Вздохнул тяжело. Сколько раз далеко забирался, а добра не находил. Может, хоть теперь лучшую долю сыщет.

Они отдали Марье свой скудный скарб, уложили в заплечные торбы то, что могли с собой унести. Анна обвела в последний раз глазами стены избы, словно навсегда вбирала в себя этот до боли родной кут. Оставляла здесь все: отцовские сказки на печной лежанке, песенки сверчка в углу, лавку, на которой сидела мать. А за этими стенами, во дворе — вырезанную Ивашкой на дубке примету: копые со щитом; в углу двора — колючий терновник; крапиву — остаток молний. Еще же дальше, в яру, возле трехколенной сосны, выросшей из одного корня, оставляла родник... А правее того родника, в затишке, — мельницу, что машет рваными рукавами...

...Небо светлело, когда они, сопровождаемые Серко, спустились к Днепру. Пахнуло свежестью. Защелкал соловей в садах.

Давно ли в кленовой чаще звонко спрашивала иволга: «Ты

где была?», а вот уже скоро наступят черемухины холода, березовые леса укроются в зеленоватом тумане, пряча в нем золотистые сережки.

Сердце сжалось у Анны от горя, от жалости к брату, к отцу, к тетке Марье, к ее погибшему мужу, к себе. За что им уготована такая участь? В чем они провинились? Мать сказывала, что родилась Анна в рубашке. Так где ж то счастье?

Осторожно раздвигая камыш, они двинулись навстречу розовеющему небу.

В то же утро, только позже, Ратибор сказал Мономаху:

— Затупил смятенье в людях.

Владимир чутким прикосновением пальцев погладил амулет. Еще в жизнеописании двенадцати цезарей Гай Светоний Транквилл поведал, как Тиберий ввел закон, карающий тех, кто хотя бы словом оскорбляет величие императора...

Слишком грубо... открыто...

— Объяви в народе о заступничестве моем милосердном. Не хочу губить ни одну душу христианскую... Все, что делаю, во имя человечности...

На лице Ратибора не дрогнул и мускул.

Мономах промолчал, сказал уже вдогонку тысяцкому:

— Мастеровых-то людей учти... Через Днепр мост строить будем¹.

...Евсей с детьми благополучно выбрался из Киева и, держась берега, зашагал к бродам.

Цвела ольха. Сильные порывы ветра налетали на ее кусты, поднимали с них зеленоватые облака пыли, и все вдруг становилось зеленым: воздух, днепровская вода, совсем недавно белый песок косы.

В лесу цвели дикие вишни — казалось, выпал неожиданно снег, припорошил местами лес.

Здесь тоже порывы ветра сбивали цвет, и он кружил спокойными мотыльками.

¹ Построен в 1116 году.

Но ничего этого не видел сейчас Евсей. Он шел впереди детей, погруженный в тяжкие думы о своей неудавшейся жизни, о князьях приспешниках: «В крови, как в болоте, увязли...»

Они вышли на знакомую стезьку, и Евсей, подняв голову, наконец увидел весеннюю степь. Радость зажглась в его глазах. Степь сама складывала задушевную песню...

Вьется, вьется еще не широкий Соляной шлях. Бескрайне небо. И впереди нет конца-края степи. То там, то здесь разбросала она ряднушки из алых, желтых тюльпанов.

Среди прошлогодней повядшей травы зеленеет новая, молодая. Мир молодеет, мир всегда молодеет. Так устроена природа. Евсей распрямил плечи, синие глаза его повеселели.

...За полдень они сели перекусить на лесной поляне под сережками орешника. Рядом цвел куст волчьего лыка.

Анна достала из торбы черные лепешки. Ивашка сбегал за ключевой водой.

Отец извлек крохотный узелок с солью. Осторожно раскрыл его, чуть присыпал лепешки.

Анна, откусывая лепешку, запивая ключевой водой, от которой ломило зубы, спросила:

— Когда ж, тятя, в каждой избе солонка полна будет?

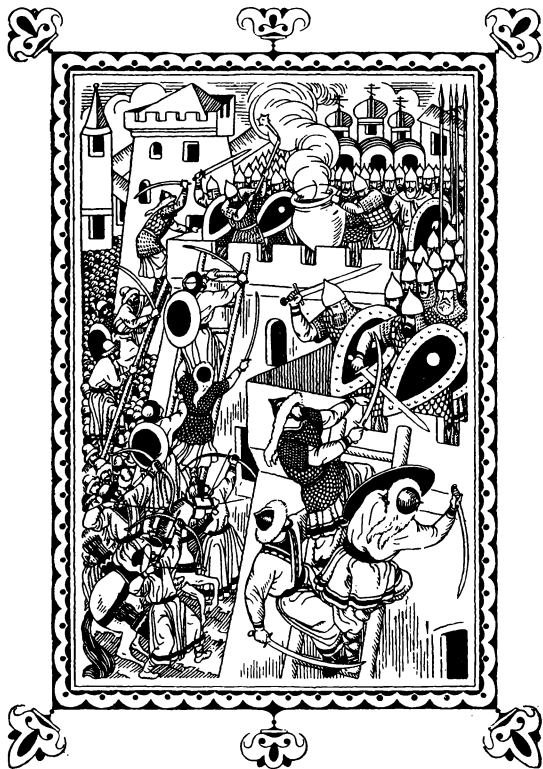
Что мог он ответить дочке?

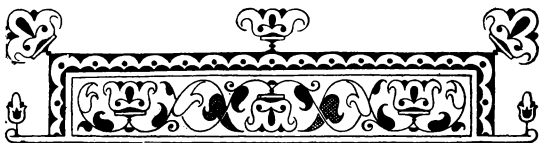
Евсей задумчиво поглядел на стезьку Соляного шляха. Она затайливо виляла, звала в солнечный край.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГРАДЪ ЗА ЛУКОМОРДЕН







К ДОНУ!

На исходе первой недели Евсей Бовкун с детьми повстречал на развилке дорог Соляного шляха небольшую валку.

Она устраивалась на ночлег под ивами, и Серко самоотверженно бросился с громким лаем вперед к незнакомцам. Навстречу Евсею шагнул приземистый черноволосый мужчина с длинными руками и настороженным взглядом черных глаз. У мужчины волосы даже в ушах и ноздрях. Короткие пальцы руки он положил на рукоять ножа у пояса.

— Добrivечер! — приветливо сказал Евсей, подходя к мажарам.

— Добрый, — сдержанно ответил черноволосый, не ведая, чего ждать от этой встречи на ночь глядя.

Но, видно, его успокоил мирный облик Евсея и то, что к нему теснились дети.

Колаш — так звали жожака валки — вел ее из Переяславля в Крым за солью. С Колашом была его дочь Сбыслава — лет двенадцати-тринадцати. Она сразу же подошла к Анне, и минутой позже Ивашка услышал, как сестра зашептала скороговоркой:

— Ты одолень-траву находила?

Сбыслава крепче Анны, рослая, но такая же востроносая, белоголовая, с темными глазами, быстрыми и озорными. Переходя на таинственный шепот, она спросила:

— А ты девять волшебных трав ведаешь?

Анна уставилась на однолетку озадаченно.

— Ну, разрыв-трава, нечуй-ветер, тирлича, плакун, адамова голова... — зачастила Сбыслава, незаметно подмигивая Ивашке, призывая в сообщники, — орхилин, прикрывша...

— Ты от кого слышала? — восхищенно глянула Анна и потерла кулачком свой маленький нос, словно различала уже запах этих трав.

— У меня бабка ворожихой была, — огорошила ответом Сбыслава и чихнула, да так смешно: три раза быстро чих-чих-чих...

Ивашка едва не рассмеялся. Девчонки отошли подальше, и теперь до Ивашки долетали только обрывки слов:

— Плакун у озера... Высокий, в стрелу... Цвет багров... Как живот заболит...

— Нет, ты мне про одолень-траву...

«Ну, спелись», — усмехнулся Ивашка, с интересом поглядывая на отрочицу. Руки и ноги у нее в свежих ссадинах, щека, в золотистом пухке, поцарапана.

— Вот таскаю за собой, — кивнув в сторону дочери, сказал Евсею Колаш. — Мать померла, а старшего сына князь извел.

Глаза Колаша стали еще мрачнее и глубже.

У мажар на костре попыхивала каша.

— Садитесь с нами, — предложил Колаш.

Угомонилась валка, уснули возчики и дети. Только Евсей с Колашом сидят у затухающего костра.

Где-то заухала выпь, заскрипел коростель. Потянуло прелью из близкой балки. Прошумел крыльями стрепет. Вдоль дороги недвижно стояли косматые цветы выродка.

— Ты куда замыслил податься? — выслушав печальную исповедь Евсея, спросил Колаш и веткой поворошил в костре, разгребая его.

— К Дону — русской реке — счастья попытаю. Может, там

от кровопивцев, злобы их неутоленной отвяжусь,— глухо ответил Евсей и широкой ладонью растер грудь: что-то в последнее время стало у него сердце болеть.

— На Дону пчелисто, рыбно, всякими земными семенами родимо,— раздумчиво сказал Колаш.— Да как в одиночестве продержаться? Кругом степь рыщет, того и гляди, воспотрошит.— Колаш помолчал.— Я б и сам побег куда глаза глядят,— наконец сказал он тоскливо,— вот еще раз судьбу испытаю...

Из-за редколесья взошла луна. Резко пахла кузьмичова трава. Низко пролетел жук, покружила перед угасшим костром и улетела в ночь бабочка «мертвая голова».

— Сына-то твоего за что?.. — спросил Евсей.

Колаш стиснул зубы.

— Была бы спина, а вина найдется. Кровь проливают, как воду.

— Когда покой нам будет?!—как стон, вырвалось у Бовкуна.

— Когда от камня плод будет...— угрюмо сказал Колаш. И посоветовал: — Ты бы, Евсей, лучше за лукоморье пробился.

— Как идти туда? — поднял голову Бовкун.

— Да по-над Доном, до Сурожского¹ моря. А дале — по берегу Сурожского, лукоморьем — к морю Русскому. Меж ними и лежит тот град... Тмутараканью зовут, а иные — Таматарха... Сказывают, по-сарацински — это «складочное место», а по-грецки — «соленые рыб». Двадцать разноязыких народов там живет, а боле всего русских, и град все ж нашей земли, щит ее на дальней заставе...

— Про Тмутаракань я слышал,— сказал Бовкун, а сам подумал: «Может, то и есть мой Солнцеград?»

— Место богатейшее,— продолжал Колаш,— с голоду не помрешь. И тепло завсегда... А только обходи на Дону Белую Вежу — там из Киева беглых ловят... Да Азак, он возле лукоморья, минуй... Сказывают, половцы народ хватают, в полон грекам продают...

¹ Азовского.

За тот месяц, что шел Бовкун с валкой к острову Хортица, его дети сдружились со Сбыславой. Была она смышленной, бесстрашной. Запросто хватала руками ужей — Анна только повизгивала восхищенно, — не боясь, переходила броды, вместе с Ивашкой наперегонки взбиралась на деревья. Как-то сказала ему:

— Ты сердитыш?

Ивашка даже обиделся:

— Надумала!

— А что брови грозно сунешь? — не успокаивалась, словно поддразнивая, Сбыслава.

— Сейчас плясать пойду, — теперь действительно рассердился Ивашка. — Это у тебя нрав взбросчивый.

Сбыслава метнула быстрый взгляд.

— Смотря для кого!

А с Анной она поменялась нашейными крестиками. Обнимая, сказала:

— Мы теперь посестрились. — Лукаво поглядела на Ивашку: — А тебя в братики не принимаю.

— С чего ж это?

— Сам ты взбросчивый!

На виду у острова Хортица, с его огромным священным дубом, пришла пора расставаться.

— Все же прижмусь я к Дону, изноровлюсь, — сказал Бовкун под вечер Колашу, когда они опять вдвоем сидели у костра. — Вот только... — Евсей замялся, покрутил светлый ус, потом, словно решившись, закончил: — Есть у меня подвески ушные жены покойной... Друг Анфим говорил — камни дорогие... А он им цену знал... Может, сладимся. Надо мне кое-что в дорогу.

Колаш подержал на ладони подвески. В свете луны камни играли заманчиво.

Он дал Бовкуну сети, топор, лук со стрелами, полторбы сухарей.

— Не осуди, боле не могу.

Утро выдалось тихое, румяное. Замерла стена травостоя в

белом инее, будто вспотела во сне. Красовалась своими притворными цветами боярская спесь.

Просвистел пронзительно скворушка в березовой дубраве, прочистила горло зорянка. Еще досматривала предутренние сны степь в праздничном весеннем наряде из голубых ирисов и ярко-оранжевого горицвета.

И так защемило сердце Евсея: куда побредут они от этой родимой красоты? Что ждет их на неведомых путях-дорогах?

Широкое лицо Евсея стало печальным.

Терся о ногу Колаша Серко, обнимались, прощаясь, Анна со Сбыславой. Хмурился в стороне, покусывая губу, стараясь не показать, что жаль ему расставаться, Ивашка.

Колаш обнял Евсея.

— Ну, добрый путь. Гляди, и я когда прибьюсь к тем местам. С богом. Может, и впрямь долю найдешь...

Качнулись, сдвинулись, словно нехотя наматывая дорогу, колеса мажар. Закосили ногами волю...

Евсей с детьми еще долго стоял, глядя вслед валке. Потом, удобнее подсунув вверх торбу на спине, шагнул по тропе влево.

Более месяца пробирался Евсей с детьми по новым местам.

Позади остались реки Калка и Миус, меловые горы, каменная гряда с ребристой коричневой грудью, на которой, как волсы, проступали то розово-белый шиповник, то зеленые пряди заячьей капусты.

Беглецы видели издали стада сайгаков с рогами, как у коз, и длинными носами, похожими на хоботы, слышали, как прокладывали себе путь сквозь чащобу зубры, успокаивались от знакомого посвиста темно-серых байбаков.

И вот наконец вышли к Дону.

Он встретил их печальными ивами, что почти касались земли косами, словно прислушиваясь, вспоминая о недавнем разливе. Казалось, стволы приостановили падение, замерли в ожидании.

Широко и вольно раскинулась могучая река, неся упругие волны к Сурожскому морю.

Евсей не мог оторвать глаз от этой шири. Дон был равен в красе Днепру-Слаутичу, а может быть, и величавее его.

Припекал полдень. Всплескивая, жировали сазаны. Белая цапля на берегу заглатывала лягушку. Баба-птица била крыльями по воде, гнала рыбу вверх, а баклан, подхватив ее, уносил на дерево. Клекотали орлы. В дрожащем от марева воздухе начал серебриться вдаль ковыль-тырса, фиолетово отливал стройный шалфей, дразнил ноздри пахучий чабер. В осоке пели камышовки. Чуть в стороне от Дона земля утопала в переплетении лугового мятлика и тонконога.

«Сколь богата ты, Русская земля,— думал Евсей, глядя на эту благодать.— Ничья, так неужто не прокормишь нас?»

Он сбросил со спины наземь торбу, подошел к Дону, став на колени, зачерпнул горстью воды, припал к ней губами.

— Будь милостив, Дон-батюшка, к детям твоим пришлым...

НОВОСЕЛЫ

Иудны закаты на Дону, словно догорающие костры ввечеру.
Но сколь ни любуйся закатами, ими одними сыт не будешь. И наутро начал Евсей выбирать место для хижки неподалеку от берега.

— Ну, выгонцы,— сказал он, обращаясь к детям,— пора за работу. Глаза страшатся, а руки творят.

Ивашка и отец, сбросив рубахи, стали рыть яму. Пот обильными струями тек по их мускулистым загорелым телам.

Крутом жужжали шмели, трещали кузнечики, кричали свои «кухикух» сурки, а они все рыли да рыли, пуская в ход найденные здесь же на берегу кусок оленьего рога, продолговатый камень.

Анна то и дело приносила землеройцам родниковую воду в выдолбленной тыкве, дорогой, развлекая себя, пела тоненькой скороговоркой: «Жил-был журавушка с журавлихой, поставили они стожок сенца — не молвить ли все с конца?»

— Аннусь,— попросил отец из ямы,— возьми топор, наруби камыша.

Девочка проворно схватила топор и пошла к прибрежным камышам. Вдруг оттуда раздался ее пронзительный крик.

Евсей одним прыжком выскочил из ямы, бросился к дочке.

Анна, держа перед собой топор как ничемную хворостину, отступала, а в двух шагах от нее, около котят, изогнулся для прыжка желтый, с темными полосами, камышовый кот — хаус величиной с небольшую рысь.

Евсей выхватил топор из рук дочки, оттолкнул ее. Гибкое тело хауса распрямилось в воздухе. Евсей успел немного отклониться и с лета ударил хауса по голове топором. Кот упал и мертво застыл, только длинный хвост его да усы еще несколько секунд чуть заметно подрагивали...

Ночью в страхе скулил Серко, а наутро обнаружил Евсей неподалеку от их ямы следы медведя.

Нет, здесь, видно, опасно. А что, если сделать одноподеревку-долбленку, перебраться вон на тот островок посреди Дона, похожий на зеленый курган? И половцы туда, пожалуй, не полезут.

...Несколько дней делали Бовкуны долбленку. Повалили толстую липу, обрубили ветви, сняли кору, в колоде выжгли, выдолбили середину, обшили бортами. Ладья получилась на славу. В ней и перебрались на островок, здесь стали копать новую яму для хижки с очагом.

Островок был спокойный, без опасного зверя. По вечерам грустно кричали лягушки-жерлянки, днем кружили темно-коричневые, с белыми разводами, бабочки.

...С середины июля подул восточный горячий суховец, погнал тучи пыли, одел во мглу солнце, деревья, выедал глаза, хрустел летучими песками на зубах.

На опаленной земле лопались под ногами стебли шалфея, горькими погорельцами стояли деревья. Давило унылое свинцо-

вое небо. Солнце не могло пробить пыльную завесу и походило на тусклый блин. Даже кузнечики потеряли голос, даже птицы не вскрикивали.

А потом вдруг разверзлись небеса, пролили наземь ливни. Установилась нежаркая погода, зачешуилась, прино запахла полынь, зажелтели одуванчики.

Из дикой конопли и древесной коры сплел Бовкун силки. Было здесь птицы великое множество, в силки попадались куропатки, лесные рябчики. Однажды они побаловались вкусным мясом стрепета. Бовкун приручил даже дикую козу, Груньку, Анна — ежа, и он загрыз не одну гадюку. А потом стали запасать на зиму лук, чеснок, терн, орехи, груши-дички для взвара, кизил и ежевику.

О грибах отец говорил, как о людях. Когда Анна показала ему как-то гриб с красной головой, отец предостерег:

— Вишь, красив, сам, подлый, в руки просится... А яд! Так и человек иной... Не торопись суд свой о нем сложить. Главное ж — ищи добро.

Евсей на долбленке переплыл через Дон — проверить силки. В степи лежала глубокая осень. Окоем¹ исчез в утреннем тумане. Под ногами виднелся желтый крестовик, синеголовник. Нехотя катились вперевалку шары катрана.

«Вот и мы так,— глядя на эти шары, думал Евсей.— Долго ли в одиночестве удержишься? Зачем прибег сюда? Чтобы скрыться от Путяты, от князя, перебыть время, а потом, гляди, и возвратиться домой, в родной Киев, когда станет то возможно? Смогу ли переждать, пока подрастут дети, начнется у них своя жизнь? Может, в бегах этих да на бродах повстречаются еще такие добрые люди, как Колаш... И вместе будет нам легче жисть обламывать. Или и впрямь в Тмутаракань податься?.. Не журишь, Евсей, ты еще повидаешь детей в счастье».

¹ Окоем — горизонт.

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА



Зима на Дону выдалась неустойчивая. То гулял сырой ветер Сурожского моря, гудел в бору, то лед облеплял дроф, и они неуклюжими стаями бродили по степи, покорно подставляя головы секущей крупе. Потом наступали нехолодные, солнечные дни и ломила глаза снежная белизна. Лесные деревья торжественно стояли в снежных шапках, Дон походил на выбеленное полотно. Только и вились на нем две стежки, протоптанные Евсеем с детьми к лунке проруби да к незамерзающей кринице у берегового обрыва.

А сегодня с утра завихрилась, залютовала метель, навалила сугробы, и семья Бовкуна отсиживалась в хижке, вспоминая, что пришел Афанасий — береги нос¹.

Потрескивали в очаге дрова, дым тянуло в дверную щель на волю. Лучина освещала зыбким светом набросанные на земляной пол шкурки зайцев, бобра, злополучного камышового кота, наполовину сплетенную из прутьев корзину, развешанные для сушки травы от болезней. Домашние цвиркал сверчок.

Анна чистила рыбу, нет-нет да бросала требуху Серко. Он удобно устроился в углу на веревках, облизывался, поглядывая просительно на Анну. Ивашка, подсев поближе к лучине, точил топор, а отец чинил сеть.

Ивашка чихнул.

— Будь здоров! Достаток в дом! — скороговоркой пожелала Анна.

Ветер донес издали протяжный вой голодной волчьей стаи, наверно, шныряли в округе белые волки-баланы — их недавно приметил Евсей.

Лица у детей вытянулись, и отец шуткой решил отвлечь от страха:

— Еще дед сказывал мне байку: пришла свинья до коня и речет: «Вот я конь». А конь в ответ: «И ноженьки короткие, и ушеньки клапоники, а поди же ты — не свинья?!»

¹ 18 января.

Анна приснула от смеха. Ивашка улыбнулся скупю: «Батько усмешает нас, чтоб не так тяжело было». Поглядел на отца. Продубленное ветрами и солнцем красноватое лицо его сохраняло серьезность, только серовато-синие глаза смеялись да пшеничный ус подергивался. Потом сказал серьезно:

— Сытость, разве же то все? Надобны и песня, и небо, и степь, а главное — люди.

Анна-несмышлена, видно, вспомнила Сбыславу, спросила с печалью:

— Когда ж мы теперь тех людей увидим?

Евсей свел на переносье широкие брови:

— Придет пора — увидим... Ну, выгонцы, спать время...

Анна долго ворочалась: все сон не шел. «Сбыслава сказывала, — думала она, — одолень-трава растет поверх воды... в ти-хости... Может, здесь, на Дону, ее и встречу... Ростом, говорит, в локоть, цвет рудо-желт, листочки белые... А сама добрая. Слы-хала, зовут ту траву еще русалочий цвет... Сбыслава и заговор знает, что помогает найти одолень-траву: «Стану я в чистом поле, облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу красно солнышко положу... Опяшусь светлыми зорями, ясными звездами от всякого злого недруга моего...»

Даже дыханье перехватило у Анны, когда она представила себя в чистом поле перед этим походом за доброй травой. «Господи благослови, — скажет она. — От синя моря дай силу, от сырой земли — резвость, от чистых звезд — зренья, от буйного ветра — храбрости».

Она увидела себя в зеленых лугах. Вот умылась медвяной росой, утерлась солнцем. Глянула — колышется на реке в заливе та одолень-трава.

Взяла ее в руки осторожно и попросила:

— Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты наветчика, одолень-трава. Помогли одолеть нам горы высокие, доли низкие, озера синие, берега крутые, броды глубокие, леса темные, пеньки и колоды. Спрячу я тебя, одолень-трава, у своего сердца...

Скулит во сне Серко, чадит лучина, вой метели перешлетается с волчьим воем.

И Евсею не спится. Обступили заботы о детях — главной радости его. «Растут быстро, как крапива, и надобно, чтоб уяснили: нет на свете счастья без рукотворства».

Словно с цепей сорвались псы голодные, обезумела ползуха-метель. Евсей представил: бескрайний белый свет, злобно метет снег, а в нем затерялась их хижка на донском островке.

В этом белом свете пирует сейчас князь с боярами в ярко освещенных хоромаш; выплакивает в своей каморке последние слезы Марья; сидит у лучины, грустно подперев черноволосую голову, Колаш, смотрит жалостно на Сбыславу; откладывает перред сном костыль Петр...

Может, кто думает и о них — затерянных в метели?..

А Ивашка только прикоснулся щекой к изголовью — мгновенно уснул. И сразу увидел, как недавно поймали они с отцом горностаю. Отец сказал:

— Теперь не с пустыми руками к лукоморью идти будем.

Значит, все же думает податься туда, не век жить середь волков и медведей. Ивашка увидел во сне город у двух морей весь в солнце, зелени, край благословенный...

ПОЛОВЕЦКИЕ СТОРОЖИ



олчья зима поворачивала на лето, и на душе с каждым днем становилось светлей.

В конце марта-протальника шука стала хвостом лед пробивать, появились на льду первые трещины, потемнели снега.

Поутру Анна вышла из хижки, постояла, щурясь на неяркое солнце, и вдруг услышала — рядом жеребенок ржет, да так протяжно, весело. Анна оглянулась в недоумении. Что за чудо — нет никакого жеребенка. А он опять заржал, и где-то сверху. Анна подняла голову, расплылась в улыбке: на го-

лой ветке клена сидел скворец, подражал голосу жеребенка. Потом загоготал гусем, завизжал поросенком.

Анна вбежала в хижку, крикнула звонко:

— Ивасик! Скворка не иначе из Киева прилетел!

Весна поначалу бралась медленно, и по всей природе разлилось словно бы покорное ожидание. Так человек, устав от зимней стужи, ждет прихода весеннего солнца, когда можно сбросить зимнюю одежду, подставить тело благодатным лучам.

Вот уже двинулись льдины на юг, обтачивая берег. Синие, без листьев, деревья мерзли, стоя по колено в воде, прихорашивались ивы-подростки, в оврагах зажурчали ручьи, солнце пригрело степные плешины.

Потом ясень погнал под корой сладкий сок, стал разбивать почки весенний ветер, пробудились сверчки, заплясали в степи на преющей земле журавли, вышел из берлоги медведь, повели нескончаемую перекличку перепела.

Песнь жаворонка, казалось, наполняла прозрачный воздух. Пролились тучи — небесные колодцы, и через Дон перекинулась рай-дуга.

У Евсея с детьми полно забот: расширили долбленку, вмещающую теперь всех троих, да еще и Серко, плели рыбацкие сети, сушили шкурки.

Беда пришла ближе к лету.

Как-то на рассвете переправился Евсей с острова на берег снова проверить силки в лесу. Спрятав долбленку в камышах и уже дойдя до леса, увидел вдали трех всадников. По острым шапкам, колчанам со стрелами, что висели на плече, низкорослым коням сразу признал в них половцев.

Верно, рыскали то дозоры-сторожи.

Евсей спрятался за ствол дуба, а Серко с лаем бросился к всадникам. Они подняли на дыбы коней, копытами раздавили собаку и подскакали к берегу, держа луки наизготовку.

Евсей упал в кусты, притаился. Подоспели еще пять полов-

цев. Один из них, видно начальник сторожей, показывая плеткой на остров, горланно сказал:

— Как бы не на острове русичи. Пес-то их.

Низкорослый половец соскочил с коня, приладил к его хвосту мешок из шкур, набитый сеном, погнал коня в Дон, держась рукой за мешок, на который положил колчан и одежду.

Евсей похолодел от ужаса. Анна и Ивашка еще спали в хижке. Сейчас их убьют или увезут в полон. Ему вдруг вспомнилось, как рождавшихся детей клал он, укутав, ненадолго на порог, «вводил в избу». Погубят их теперь...

Половец был уже на полдороге к острову. Евсей натянул тетиву, стрела впилась в шею плывущего, и он мгновенно исчез под водой. Конь его заржал, повернул назад, а стоявшие на берегу закричали, закружились на конях, с опаской поглядывая на лес, пустили туда наугад с десяток стрел, и они смертоносно просвистели над головой Евсея.

Тот же старший крикнул:

— Не стрелять! Завтра сотня придет... Чую — есть на острове добыча.

Они подхватили за удила вернувшегося коня, взвыли и, припадая к конским гривам, умчались от Дона в сторону, откуда появились.

...Евсей выждал, пока половцы скрылись из глаз, и на долбленке возвратился на остров. Дети еще спали. Он разбудил их; как можно спокойнее, чтобы не напугать, сказал:

— Собирайтесь, бовкунята. Нам здесь боле нельзя оставаться. Половцы рыщут. Серко убили.

Анна тоненько заплакала.

— К лукоморью поплывем, — сказал отец.

Знал Евсей хорошо этих степных шакалов, свист их арканов. Сам боле года мыкал горе у них в плену, усвоил язык, повадки и норы. Они подрезали сухожилия пленным, чтоб не сбежали, вабивали в оковы, били плетью с железкой на конце. Теперь жди набега сюда.

Но ничего этого Евсей детям не сказал: зачем души страшить? Только глухо произнес:

— Жизнь здесь звериная. Без люда нельзя... Один и возле каши загинет.

Они до сумерек укладывали все, что могли, в свою долбленку, сделали запасное весло, привязали ивовыми прутьями связки сухого камыша по бортам — для устойчивости. И уплыли в ночь, оставив на песке большие горящие костры — пусть новые сторожи думают, что поживятся утром.

Притихшая, сидела Анна в долбленке. Продолговатые, заячьего разреза глаза под белесыми бровями печально и горестно глядели на мир. Снова приходится бросать то, к чему уже приросло сердце. А как жаль было погибшего Серко, оставленных ёженьку, Груньку, обжитую уютную хижку со скворцом над ней, такой приветливый остров. Вот тебе и мечты об одолень-траве, что собиралась вскоре найти. Где ж ты, одолень, почему не управилась с половцами?

И в какой уж раз она спрашивала неведомо кого: «За что нам уготована такая участь, в чем мы провинились?»

Долбленка медленно плыла вниз по извилистому течению Дона, под дрожащими звездами-ярочками, плыла мимо величавых темных берегов, таких же, как их, островов.

Из тучи вынырнул щербатый месяц, словно вырвался из рук половца, ножом урезавшего его.

Вот упала звезда — не иначе ведьма в горшок спрятала. А может, то перелет-травы? У нее листья похожи на крестики.

Анна прикорнула. Ей приснилась сестренка Сбыслава: половцы скрутили Сбыславе руки, тащили за конем по степи. Анна вздрогнула от этого видения, от утреннего холода. Отец набросил ей на плечи свой старый зипун.

Они плыли к Сурожскому морю ночами, натирая веслами кровавые мозоли, изнемогая от усталости. Щелкали, не радуя, соловьи. А они плыли и плыли в темень, навстречу неведомой судьбе. Днем отсиживались в камышовых зарослях. Наконец как-то поутру вдали на бугре показались шатры, войлочные юрты, каменный караван-сарай, дворец и мечети.

Ивашка обрадовался:

— Гля, батусь, не лукоморье ли то?

Но отец охладил:

— Половецкий стан Азак¹. Нам от него подале держаться надо, не то в лапы кагану попадем.

Снова спрятались в камышах. А когда взошла луна, в ее мертвом свете град Азак показался вымершим. Безжизненно замерли каменные постройки, шатры, кущи акаций. Но тишина была обманчивой. Евсей знал: на главных дорогах залегли скрытые сторожевые посты половцев.

Где-то промчался, цокая копытами, конь одинокого всадника. И опять обманчивая тишина.

Не натолкнуться бы на бродячих степняков.

Бовкун бросил долбленку, они нагрузили на себя поклажу и пошли в обход Азака.

Широким полукружьем обойдя город, стали возвращаться к берегу моря.

Отступил и остался позади лес, все чаще попадались овраги, курганы с щетиной ковыля, заросшие бурьяном балки, глубокие обрывы с синей водой в лиманах, песчаные косы и, наконец, вынырнуло Сурожское море — словно разлилась здесь широко Русская река, вышла из своих берегов.

Дети впервые видели море. Так вот оно какое!

Море поразило неоглядностью, величавым и мудрым покоем, дышалось вольно. Летали чайки над гребнями коротких волн. Солнце слегка золотило зеленовато-серую ширь, и само небо сливалось с морем, было его продолжением.

Еще с месяц шли они на виду у моря. Начали попадаться водяные мельницы, виноградники, стога сена. Евсей думал было пристроиться к какому-либо каравану русских купцов, но остерегался. Хотя половцы пропускали караваны, да нет-нет и полагали их.

Промышляли грабежом и озлобленные лихие люди, тоже ищущие свою долю.

¹ Сейчас Азов.

Наконец беглецы вошли в русское селение Ставр, остановились на заезжем дворе. Хозяин его — немолодой, разговорчивый Гудым, похожий на гранильщика Анфима могучим ростом, светлыми волосами, но с нездоровым румянцем на щеках, — узнав, что они держат путь лукоморьем к Тмутаракани, весело пообещал:

— Ден через десять, считай, там будете. Как минсте три брода. Ну, да вам коня не шпорить.

О себе Гудым сказал:

— Верчусь, как муха в укрепе.

Позже он поведал, что половцы прострелили ему грудь, а у жены с тех пор глаза поразила мгла.

Хорошо заплатив Евсею за бобровую шкурку, Гудым поостерег:

— В той Тмутаракани, добри человек, тоже трухи в богатой одежде хватает... Для себя творят легко, а меньшим зло...

Усадив детей Евсея за кашу, Гудым достал медовуху, подмигнул Бовкуну:

— Ну, за новую жизнь твою, странец!

Под окном избы прогорланил петух.

— Вот-то орет, черт некованый, — усмехнулся Гудым. Опорожнив кружку, крикнул: — Тебе Тмутаракань возвещает...

ГРАД НА КРАЮ ЗЕМЛИ



бессилев от долгого пути, они заночевали в густой траве, под идолом, на кургане. Иссеченное ветрами и дождями слепое лицо идола почти утратило черты, походило на серую лепеху. Утро вставало солнечное. Голубело небо. Морской ветерок играл в волосах Анны, и она радостно улыбалась, сама похожая на кувшинку.

Умывшись в озерце и перекусив, Бовкун с детьми двинулся в последний переход. То и дело пролетали, похожие на радужный огненный луч, морские кулики-крапаянки.

Беглецы миновали камышовые заросли болот, соляное озеро, путаную прядь притоков и вышли на дорогу.

Город поднялся, как из сказки, белокаменными стенами Детинца на Княжьей горе, крепостью, золотыми куполами собора, минаретами мечетей.

Он пристроился во впадине залива, похожего на раскрытую пасть неведомого зверя, именуемого Тмутаракань,—град на краю света крещеного.

«Неужто и в нем не припасено нам хоть малое счастье?» — думал Евсей, ускоряя шаг. И Анна повеселела: «Вот здесь найду одолень-траву».

Ивашка был ошеломлен: именно таким приснился ему тогда, зимой, в хижке, град, сотканный из лучей и зелени.

Солнце поднялось над виноградниками и полями, когда Бовкун вошел в пригород Тмутаракани.

Здесь многое напоминало Киев.

Лепились в кривых улочках землянки простой чади. Окна были затянуты пузырями, на заборах дворов, вокруг построек из глины и камыша развевалась стиральная ветошь. Звон наковален сливался с постукиванием камнетесов, щитников.

Словно ветром в беспорядке разбросало мастерские лучников, гвоздочников, седельников, тульников, что делали колчаны.

Но было в этом подоле что-то совсем свое. Может быть, от мягкого шума волны, играющей голышами, от рева верблюдов, близости пристани, запаха рыбы и лаврового листа, камня, нагретого солнцем.

У Евсея голова кругом пошла от многолюдья, разноязычья. Говорили косоги¹, хозары, лезги, аланы², готы...

Бовкун усмехнулся: «Одичали мы на острове».

Возле «Столба грешников» на торгу стоял привязанный оборвыш с непокрытой головой, а человек в копоты, верно кузнец, говорил укоряюще:

— Будешь еще, тать, красть?

¹ Адыгейцы.

² Осетины.

Неподалеку от камня с отметкой тмутараканской сажени мужик, похожий на разбойника, кричал что есть силы:

— Жарену рыбу!

Здесь шумело рыбное торжище, продавали морские травы, раков. Рыба трепыхалась в корзинах и чанах, сверкали чешуей красноватые лещи, одноглазая камбала, серебристая кефаль, севрюга с расщепленным хвостом, большими круглыми белыми глазами и синеватым зрачком.

Ивашка склонился над осетром: черная, в пробел, спина с одним пером, на красноватом носу — десяток белых пупырышек.

Словно костяная, чешуя в несколько рядов делала осетра ребристым. Бывает же такое на свете!

— Тут, гляжу, и на долото рыбу удят,— сказал отец.

Три рыбака с трудом протащили огромного серого сома с приплюснутой головой, спиной, как у свиньи, и длинными усищами.

Ивашка с Анной пялились на эту невидаль.

— Верно, с Дона заплыл,— дивился и отец.

Будто из-под земли вырос кривоногий, с сизым носом надзиратель рынка.

— Хвост для князя отрубить! — строго приказал он. Стал отбирать у продавцов омаров, устриц, черепах, что завезли арабы.— На княжий стол!

Потом добрался и до черной икры.

— На княжий стол!

«Здесь та же песня,— сокрушенно подумал Евсей, и желваки заиграли на его скулах.— Тощему народу тощим и быть». На душе стало пасмурно.

Они двинулись дальше. Меж двух минаретов раскинулись цветные навесы: персы в полосатых халатах продавали чувяки, осыпанные блестками, с загнутыми вверх носами, плоские колодки для входа в мечеть, изделия из бамбука; армяне разложили сладости, гранаты, айву, грецкие орехи, разменивали монеты на небольшие стеклянные браслеты Белой Вежи. А чуть дальше лежали на земле шкуры пантер из Индии, барсов с Кавказа, лезгинские ковры, франкские мечи, кольчуги Иверийского¹,

¹ Грузинского.

Давыдова царства, египетская посуда, мускус Азии, слоновая кость из Африки, китайские материи, пурпурные ткани, перец...

У окованных позолоченной медью ворот в город восемь мечников и подъездной княж¹ собирали дань с купцов, осматривали товары, ловко прятали взятки. Эге, и с половецкого купца тоже пошлину требовали.

У половеца безбородое лицо, а когда униженно снял с головы шерстяной колпак, бритая голова оказалась схожей с недозревшей тыквой.

Бовкун с детьми стал подниматься по широкой вымощенной дороге к городской площади. Впереди лошадь тянула воз, доверну набитый таранью. Взялся в гору безногий на катке.

Да, Тмутаракань чем-то походила на Киев: слышимой везде русской речью, стражниками у Золотых ворот, вот этим попом с приседающей походкой, что идет рядом с возом, принимая приветы прохожих — «Святче божий!», этим спесивым боярином, шествующим посреди мостовой. У боярина чуб заброшен за ухо. Рядом плетется дружинник. На нем шапка с золотым верхом, голубой бархатный кафтан, сабля с тупым концом, за поясом, в чехле, нож с роговой рукояткой.

Но это был и совсем не похожий на Киев град: здесь ярко и щедро освещало солнце пористый камень домов меж розовых акаций. Порывы ветра приносили запахи морей, словно пропитывая ими улицы, ворошили сухие водоросли на крышах, оглаживали виноградные кисти.

Здесь жесты горожан были нетерпеливы, голоса клекотали, краски торжищ переливались ярче, чем возле Днепра-Славуги-ча. Восток, Византия, Кавказ вплетали в узор Тмутаракани свои нити, звуки, придавали его лику ни с чем не сравнимые черты. В садах возле мраморных зданий, в мощеных дворах стояли древние статуи, дома — из сырцового кирпича, под черепичной крышей. Матово серебрились высокие маслиновые заросли.

Террасы с каменными подпорами громоздились одна на другую. Валялись обломки каких-то колонн из красного мрамора. Прочно вросли в землю склады иноземных гостей.

¹ Княж — сборщик податей.

Солнечные часы на Грещкой улице показывали полдень, когда Евсей с детьми подошел к торжищу в центре города.

На выдолбленной из дерева трубе с железными обручами — она, верно, тянулась в гору снизу, от пресного озера, — сидел гудец с длинными волосами и светлыми живыми глазами.

В синагогу напротив вошел раввин.

Евсей с детьми присел рядом с гудцом, сказал одобрительно:

— Здесь, гляжу, кривоверных не теснят?

— Всяку веру милуют... — общительно ответил гудец.

— То добре, — сказал Бовкун, — как совесть велит, так и веруй.

— Ты нездешний? — поинтересовался гудец.

— С Киева мы...

— Вон та вулиця, вишь? — протянул длинный палец гудец в сторону улицы, идущей к гавани. — Сказывают, издавєнь монах Печерський Никон, що бежал от гнева князя вашого Ізяслава, монастирь здесь заложил, летопись писать стал... Теперь вулиця так и зовется — Никонівська.

Сейчас по улице этой тянулся воз с черной икрой в бочках.

— На княжий двор, — пояснил гудец и вздохнул. — А вот там, — он кивнул куда-то себе за спину, — Фряжская вулиця, плитой вымощена. Такая узкая, что прозвище ей: «Погоди, я первый». Сказывают, когда дома на ней построили — всадник проехал с копьём поперек конской шеи и глядел строго: нигде то копьё стену не задело?

В начале улицы Фрягов черноволосые мальчишки играли в чуднѹю игру. Один из них, красновато-коричневого загара, цветом схожий со стручками уксусного дерева, клал на камень рисунок, сделанный неведомо на чем, ладошкой бил по рисунку. Если картинка переворачивалась лицом к камню, удачник выигрывал ее. Ивашка усмехнулся, глядя на своих однолеток: «Делать им нечего».

Анну же другое заняло: что-то неподалеку звенело без устали.

— Дяденька, что это верещит? — спросила она у гудца.

Он усмехнулся.

— То цикады, вроде бы кузнечиков, нам, гудецам, соперники...

На руку Анны села божья коровка, да не такая, как в Киеве, а кусачая. Анна сбила ее ногтем.

...Еще долго бродил Бовкун с детьми по невиданному граду, Монастырской, Летописной, Серебряной улицам, дивясь бассейнам, толстостенным домам на каменной основе, со ставнями на широких окнах, с куполами крыш, с чердачными оконцами, с хитрыми ручками ворот, словно зверь какой грыз кольцо.

На улицах встречались нищие и калеки, монастырские чернецы и купцы, люд в невиданных одеждах. Сказывали — колхи, обезы¹.

Поздравилая, из желтого песчаника лестница, проросшая травой, вела к Горе — княжеским владениям, — но туда Бовкун не решился подняться.

Он возвратился к площади, где вел беседу с гудецом, остановился у собора святой Богородицы, вздымавшего свои тринадцать куполов. Ивашка, запрокинув голову, поглядел на позлащенный резной крест над главным куполом. Рядом с медным голубем-флюгером сидела живая белоснежная чайка, верно, всматривалась: куда полететь? — в Сурожское или Русское море.

Они поднялись по ступеням на паперть.

У входа в собор служка, с реденькой бородкой и желтым отечным лицом, тиснил глиняной печатью церковные квасные хлебцы — богомольцам для причастия.

На двери собора выбиты птицеголовые звери, князь Мстислав с нимбом вокруг головы. Скакали возле него всадники с подпятами щитами, сцепились в схватке вои.

Евсей, сотворив крест, вошел с детьми в прохладный гулкий притвор. Под ногами, словно золото, сияла начищенная медь, издали радужно цвел иконостас с его рядами икон с лентами тисненого серебра, с угнездившимися драгоценными камнями.

Иконостас отделял низкой стеной позлащенный алтарь со святыми дарами под шатром. Чей-то могучий бас пророкотал:

¹ Абхазцы.

— Кирие элейсон ¹.

На стенах собора проступали росписи.

Шел Страшный суд, напоминая грешникам о карах загробного мира, о муках для богоотступников.

Над аналоем висела в окладе, украшенная перлами и сапфирами, икона пресвятой богородицы; божья мать, с вытянутым подбородком, прямым тонким носом, сострадательно глядела с золотого поля. На руках Мария держала младенца с такими же светло-кариими продолговатыми глазами, как у Анны.

Умиротворенье вошло в душу Евсея. Все это: запах лампадного масла и воска, тускло поблескивающие рипиды ², величавые бронзовые и мраморные кресты на подножках, тишина, словно отгородившая город с его шумными толпами, скрипом повозок, гиком всадников на ристалище, от тревожной и неясной судьбы его, Бовкуна,— все это сейчас осталось за толстыми стенами храма, отступило.

И, обращаясь к сострадательной богородице, Евсей шептал:

— Помоги мне и чадам моим... Не дай нас в обиду... Сподобь к концу лет моих увидеть детей в счастье...

ПОРТ ВЕЛИКИЙ

Ивашка проснулся оттого, что пахло степью. Отец и Анна лежали рядом. Они с вечера втроем надергали травы, устлали ею небольшую пещеру в обрывистом берегу, недалеко от залива. Трава за ночь подсохла, и вот теперь знакомо и успокаивающе пахло степью. Ивашка, стараясь никого не разбудить, вышел из пещеры. На песчаной отмели грелись под первыми лучами солнца бездомные. Казалось, на берег вынесло из моря потерпевших кораблекрушение.

Шпаклевали свои ладьи рыбаки у ближней косы, развесив

¹ Господи помилуй (*зреч.*).

² Рипиды — утварь для богослужения.

на просушку сети с грузилами. Неподалеку мыл рябого вола рослый возчик. Полоскали белье женки, переругиваясь неведомо о чем.

Вминая босыми ногами влажный песок, Ивашка подошел к воде. Она была зеленоватой, прозрачной, не скрывала ни один камешек. Возле ног ковылял бочком маленький краб, старался выпутаться из водорослей.

Двое дочерна загорелых, с расчесанными ногами мальчишек строили из песка рвы и крепость от половцев; третий, зайдя по колено в воду, удил.

Солнце еще едва поднялось, разбросало по заливу золотые гривны, и от них рябило в глазах.

Подошел отец. Натерев песком лицо, тело, ополоснулся водой.

— Привыкай к морской жизни, сынок.

И Анна подбежала, ухватила опасливо двумя пальцами краба.

— Детеныш-то какой жалконький...

Потом стала собирать розоватые ракушки на ожерелье.

Позавтракав в пещере, решили идти в порт, к гавани.

Здесь день был уже в разгаре. К причальным столбам, похожим на грифов, конские головы, привязывали канатами весельные двухмачтовые корабли, струги индийского дуба саж, челны, выдолбленные из кипарисовых стволов.

По сходням на мощеную пристань грузчики сносили добро в промасленных кожах.

Пропахшие дальними ветрами, судна толпились в ожидании разгрузки. Их строгие мачты, вынесшие напор штормов, гордо высились, зеленовато-темные бока, шлифованные волнами, отдыхали под мягкий плеск залива. Меж кораблей безмятежно швыряли таранки-верхоплавки.

На корме длинной «Кордовы» из Сеуты черноликий матрос сыпал в чашу «рис для ангелов» — спасителей корабля.

На носу венецианской «Святой Вероники» матрос измерял веревкой с гирей глубину воды. Другой, с разрисованной грудью, старательно забрасывал с «Пелопоннеса» на берег чалку.

Плыли по воде финиковые косточки, рыбы потроха, огрызки груш, апельсинные корки.

Со стороны Коктебельского залива, где была запасная тмута-раканская стоянка кораблей, неторопливо тянулась цепочка греческих палубных хеландий.

Шагах в трехстах от порта корабельщики ладили новое судно: снимали скобелем кору с колоды, сверлили отверстия для уключин, насаживали руль-весло, прибивали доски на бок деревянными гвоздями. На песке валялись якоря, катки для волоков, канаты из сухого камыша, перевитого лыком.

Вкрадчиво оглаживало доски тесло, скрежетали короткие пилы, постукивали топоры, и этот веселый рабочий шум был приятен Евсею. Но пора было возвращаться с детьми в порт.

Он уютно гнезился в бухте, защищенной от ветра невысокими горами.

Обросший рыжеватой бородой матрос, с огромной серьгой в правом ухе, в просоленных портах с широким поясом, тащил на палубу главный якорь, кричал кому-то хрипло:

— Канат поддай!

Над водой с плывущим масляным пятном показалась голова четырехпалого якоря: словно чудище морское вылезло поглядеть на свет, прислушаться к шумливому порту. Якорь не удержался, снова нырнул в воду. Толстяк на берегу, с виду купец, крикнул досадливо:

— Умелец!

Матрос разъярился, обернувшись к толстяку, просипел:

— И ты туда ж, косая камбала! Куль с бородой на говяжьих подставах!

Купец оскорбился, но ответил с достоинством:

— Наряди свинью в серьги, а она — в навоз... — И пошел своей дорогой.

Рыскали всюду облезлые портовые собаки, прыгали в воду с вымола мальчишки с выжженными солнцем волосами, выковыривали из расщелин глазастых черных бычков, черпали ковшами хамсу. В стороне у складов стояли глиняные бочки-пифосы с зерном, амфоры, наполненные оливковым маслом Родоса.

А грузчики все тащили и тащили натужно по сходням на берег огромные корчаги с метками на ручках, слоновую кость, диких кошек в клетках, раковины, красное и эбеновое дерево, наждачный камень, железо, меха и янтарь. Тек по лицам и спинам грузчиков пот, дрожали ноги, а заморским товарам не было видно конца. Сухопутным, морями возили их сюда, к сплетенью водных и степных путей.

Чело града оведали ветры, то крутые, просоленные, хлесткие, то тихие и нежные. Чайки, пересекая пролив, несли на своих крыльях брызги Русского и Сурожского морей.

Только в заливе утихали волны, сливались в бирюзовую гладь, сонно ластились к берегу.

Евсей с детьми миновал церковь покровителя моряков святого Николая и длинный каменный дом. У входа в этот дом висел герб: резал буруны парусник. Капитаны хранили здесь свою печать, давали клятвы во время общих пирушек, произносили извечное: «Да будут благосклонны к нам ветры всех морей!»

Здесь договаривались они о длине корабля, чтоб не превышала ста локтей, о количестве матросов на нем — не более срока человек, о начале навигации, пошине князю, выдаче из кассы пособий в рост. В складах лежали запасы мехов для пресной воды, якорей, парусины, мачтового леса, гвоздей.

На пристани — крики и хохот. Молодой моряк с красной тряпкой, накрученной на голову, зацепил якорем за ручку огромную амфору и тащил ее из воды. Она, вероятно, пролежала там долго, позеленела, покрылась наростом.

— Эй-эй, Еремка, не упусти! — кричали с берега. — Давай милаху, давай!

Амфору втянули на палубу, отскребли ножом накипь времени, и на боку проступила греческая надпись.

Моряк, поймавший эту добычу, отодрал пробку, залитую смолой, и, налив себе на ладонь немного темной душистой жидкости, попробовал ее.

— Ого-го! — закричал он. — Жгет, подлая!

К амфоре потянулись чаши. Но откуда-то, как обычно, вынырнул княжий портовый надсмотрщик, кладя руку на горлышко амфоры, сказал:

— Княжье добро.

Моряки недовольно заворчали, насупились, но амфору отдали.

Рядом с Евсеем стоял высокий худущий моряк в рваной куртке, покореженных сапогах, с лентой-ремешком на лбу, пониже потрепанной суконной шапки. Моряк этот мрачно процедил:

— Лихоимцы подлые! Чтоб их первая стрела не минула!

Глаза у моряка словно бы заплаканные, руки в таких темных конопатинах, что казалось, в них въелась земля.

— Ты тмутараканский? — спросил он Евсея.

Узнав его историю, посочувствовал:

— Не горюй. Грузчиком здесь прокормишься. Я тож беглый, с Чернигова. Семью мою там извели злыдни. Аггеем меня кличут. Пойдем, я тебя с добрым человеком познакомлю.

Они долго шли берегом. Аггей вышагивал впереди, немного согнувшись, словно у него болел живот. Казалось, с испугом высматривал что-то на земле. Наконец остановился у полуразваленной лодки под полотняным навесом. Возле нее сидел человек много старше Бовкуна, с лицом, поклеванным оспой, плоским носом и будто вылинявшими глазами. Он был гол до пояса, порты заправлены в широкие сапоги. Пальцы рук походили на долголетний бамбук.

— Это наш старшой, Милован Мореход, — сказал Аггей. — Вот привел до тебя еще одного бедолагу с детьми малыми, — объяснил он Миловану. — Может, поможешь?

Милован внимательно оглядел Евсея. Услышав его рассказ, решил:

— Будешь в нашей ватаге. А пока сидай. Покормимся.

Он достал зажаренную барабульку, кусок черствого хлеба, усмехнулся:

— Черной икры не жди.

Мирно дремали бухты залива. Виднелась длинная, в зеленых пятнах мха, стена Никоновского монастыря. Шли плоты в сторону Корчева, и, верно, над ним, над Митридатовой горой развесил свои космы дождь. А здесь пенные волны нехотя набегали на берег. Взмывали на воздушных качелях чайки.

Доносились детские голоса, особенно звонкие от близости воды. Вдали солнце проложило по ней широкую полосу, словно отделяя дымчатую синь от бирюзы, указывая путь к воротам в море.

Аггей прервал молчание.

— Наш старшой на причале недавно, — почтительно сказал он, — повидал свету... Бури его не топили, окиян не принял... на бревне сутки проплавал...

— Я што... Моряк, каких много... — глухим голосом сказал Милован. — Вот Оверьян, эт-то... Рулевым я у него плавал...

Милован оживился, взгляделся в лицо Бовкуна, будто решая, тот ли это человек, кому можно поведать о необыкновенном капитане. Увидя в глазах Евсея острый интерес, повел рассказ:

— Буреломом того Оверьяна прозвали... Здоровый, сильный. И дело знал! Бывалоче, магнитной иглой проткнет соломинку, в чашу с водой тот крест положит и уже видит, где какой город... А то по звездам путь находит... Смену ветров и теченья знал... Спервоначалу был Оверьян рыбаком на Дону, у фрягов матросом... Потом корабль свой (здесь, в Тмутаракани, заимел). И где мы только не бывали; в Царьграде, в Венеции, в пресном море — Ниле... Бурелом не единожды говорил, — продолжал он, — если корабль цел — мы живы. Если корабль погибает — погибнем и мы. Даже князь тмутараканский Вячеслав — к делу мореходному любопытный — приходил к Бурелому на корабль, вел с ним долгие беседы... Оверьян-то и меня, как я занемог, пристроил старшим у грузчиков.

Милован, видно, разохотился и после воспоминаний о капитане стал рассказывать о чудесах, что «видел своими глазами»: о рыбах, таранящих корабли; пятнистых змеях с зеленым крестом на голове — змеи те охраняют в долине алмазы; о морских раках величиной с корабль; о ките длиной в триста локтей, с

пастью, в которую может въехать всадник; о волнах, высекающих искры; о муравьях с кошку; о летающих скорпионах; о людях с плавниками; об острове Вак-Вак, где птицы не сгорают в огне.

Евсей слушал все это недоверчиво: «Правду с невидалью в кучу свалил».

Анна сидела, замирая, широко раскрыв глаза, всему веря.

— Если б начал жизнь сызнова,— сказал Милован,— все едино не изменил моря. В бурю мечтаешь повалиться на прибрежном песочке. А доберешься до берега... опять тянет в море... Ноне уже силы не те,—с горечью признался он,—даже сюда корабли водить не могу от залива Страны голубых вершин¹. Я еще за прошлый год жил там, в поселке морских проводников, возле Черной горы.

Милован поглядел в сторону Русского моря и пригорюнился. Глаза, сидящие словно бы в глубоких пещерках, защищающих от солнечных бликов на воде, сейчас были сумрачны. Милован тяжело вздохнул.

Его глодала тоска по кораблям. Ночами снилось: стоит на палубе, несуетливо отдает команды: «Мало лево...», «Одерживать», «Мало право...»

Он знал коралловые рифы, подводные гребни скал, их повороты и западни, каждую «тропку» в море и проливе. И вот теперь все это не для него, ушло навсегда. Причалил к своей тихой бухте. Перед глазами встал голубой залив, окруженный сияющими вершинами, с бухтами, усеянными по берегу камешками-самоцветами — дарами уснувшего вулкана. Его сероватым пеплом дети сводили веснушки с лица, женщины стирали одежду.

Над присмирившей водой грозно нависала Черная гора с вершинами, похожими на башни. Орлы парили над пропастями, величественно опускались на пики скал. А внизу разметалась ковыльная долина, где к запаху полыни примешивался запах водорослей...

Милован тяжело вздохнул — все уходило как сон.

¹ Коктебель.

— Старики сказывали, — поглядел он на Ивашку, — жил когда-то в той Черной горе одноглазый людоед. Дохнет — пар из вершины валит, заревет — земля дрожит. Осерчает — камни бросает вниз, выпускает расплавленную землю. Да нашелся юный смельчак, стрелой в глаз убил чудище — и не страшна ныне гора. У входа в ее ущелье стали каменные часовые. Из моря выросли золотые врата, а другую скалу ктой-то недавень прозвал Шапкой Мономаха...

Ивашка представил себя смельчаком, убивающим людоеда. Анне померещилось, будто плывет она сквозь Золотые ворота на ладье.

А Евсей подумал: «Может, мне податься морем в дальние страны? Так куда ж детей денешь? Да и сухопутный я, нет мне жизни, кроме как на родимой земле».

Милован собрал остатки еды, сказал Евсею виновато:

— Заговорил тебя... Пойдем, может, сейчас и на выгрузку поставлю.

— Яви милость, — благодарно посмотрел Евсей, вставая.

Дорогой Милован говорил:

— Сколько свету повидал, а скажу по чести: наш Тмутаракань только Царьграду и уступает, да и то самую малость. Так же толпятся суда у пристаней, торги шумят, полно корабельщиков... Ничего не скажешь, великий град...

ЧЕКАННЫЙ ДВОР



есяца два работал Евсей в порту: таскал соль, лес, мешки с рисом, что привозили сюда, пахучее корье — дубить кожи. Корьем этим широко торговала Тмутаракань, как и тончайшим льном в тюках.

Не однажды видел Евсей, как сгружали с корабля невольников в цепях. Изможденные, оборванные дети и женщины шли по сходням под палками надсмотрщиков, поднимались на Гору, в княжьи загоны.

«Чем же он лучше половецкого кагана? — вздыхал Евсей. — И здесь то ж, что в Киеве».

Раба продавали за бесценок, жизнь человеческую ставили в грош.

А как-то приплыл груженный конями корабль из Киева. Евсей затосковал нещадно. Ему казалось, этот корабль принес с собой запахи Почайны, киевских осклизлых пристаней, его двора с заброшенной землянкой.

«Неужто так и не увижу никогда Подола?» — печально думал Евсей, сводя по сходням с корабля тонконогих породистых коней. Они упирались, тревожно ржали, вздергивая головы, вбирали чуткими, нервными ноздрями чужие запахи неведомого города.

К началу третьего месяца случилась с Бовкуном беда. Разгружая византийский корабль, потащил огромный кусок эвбейского мрамора и почувствовал вдруг — надорвалось что-то... Выпал у него из рук мрамор. Евсей опустился наземь. Долго лежал. Голова кружилась, боли в животе не проходили. Грузчики отнесли Бовкуна в сторону. Аггей принес воды, присел рядом на корточки, выставив перед собой острые колени.

— Плохи дела твои, — сказал он сочувственно. — Жила порвалась... Это у нас часто бывает... Не работать тебе здесь боле...

Только к вечеру поплелся в свою пещеру Евсей, лег на сухие водоросли. На испуганные вопросы Ивашки и Анны отвечал односложно:

— Занемог... отойду...

Анна молча заплакала, крупные слезы катились по щекам. Ивашка стал укрывать отца, совал ему ковш с водой, говорил успокаивающе:

— Ничего, батя... Я на похлебку заработаю... Ты отлежись, ничего...

Продали последнее богатство, оставленное про черный день, — шкурку горностая.

Близились голодные и холодные дни. Дули с моря знобкие ветры.

Евсей становился все мрачнее. «Неужто пришла пора голодом помирать?»

Тут и появился в их пещере Милован; принес муки, рыбцов, Анне — меду.

— Ты, человеке, духом не вались,— сказал он Евсею.— Есть у меня дружок на Чеканном дворе... Сходи на Серебряную улицу, спроси на извозной конюшне Будимира... Он те дело по силам найдет...

* * *

Немного отлежавшись, Евсей отправился на Серебряную улицу. Чеканный двор стоял в конце ее, обнесен был высокой каменной стеной, охранялся стражей. Извозная конюшня прилепилась к обрыву в стороне от Чеканного двора. Будимира Евсей нашел сразу. Это был человек сумрачный, неторопливый, на первый взгляд даже суровый. Выслушав Евсея, он только и проронил:

— Пойдем...

У дальнего края стены сказал охранявшему ворота:

— К Храпу мы...

Как позже узнал Евсей, боярин Храп был здесь управителем, богом и судьей, а на Кубани держал обширную вотчину.

...Они вошли в камору. За столом сидел молодой, бедно одетый писец, расщепленной тростинкой что-то выводил на листе, а низкорослый боярин, в темном кафтане и такой же шапке, тонким голосом спрашивал:

— Завезенное верно ль вписал?

Боярин поднял на Бовкуна детски невинные глаза. Казалось, они взяты были на время у другого человека и в насмешку примеряны на эту круглую голову с бычьей шеей и подбородком, обтесанным, словно топором.

— Вот работчик...— сказал Будимир,— ручаюсь... Дети у него... А он корабли грузил, да надорвался...

Евсей даже удивился такой говорливости Будимира.

— Что умеешь, милаша? — ележно спросил боярин Бовкуна. Евсей помялся:

— По дереву когда-то резал... Может, здесь что схожее?

— Резчиком спробую... Будешь в лености — выгоню враз, — неожиданно меняя тон, объявил Храп.

Он повернулся на коротких, толстых ногах к писцу:

— Отведи в серебряный... — И вдогонку Евсею крикнул: — Харч известный, а заработок — медными!..

...В огромном дворе стояли рядами здания из серого камня. К складам грузчики таскали мешки, связки серебряных брусков.

В первом помещении на гладких камнях рубили те бруски, а рядом — расплющивали их до толщины монеты. Пластины относили в соседнюю длинную пристройку, освещенную смоляными факелами. Здесь и поставили Евсея, показали, как зубилом выбивать кругляшки.

* * *

Началась новая жизнь у Евсея. Он до одури от зари до зари выбивал эти кругляшки. Обрезки от них немедленно собирал в мешки кабальный закуп Харитон, скорее похожий на подростка, оттаскивал в плавильню, где из них делали слитки.

А в другом каменном помещении холопы-плющильцы обивали кругляшки молотком и отправляли в главную мастерскую. Там вырезали штампы, ставили на монету надписи, рисунки и в ящиках, запечатав княжьей печатью, отвозили в подвалы казны.

Когда Евсею удавалось уйти на несколько часов к детям, стражи обыскивали его рубище, запускали пальцы в волосы, кричали:

— Пасть отвори! — и заглядывали в рот.

Бледный, усталый, Евсей добирался до своих детей, приносил им кость для варева, горох. Мрачно усмехаясь, говорил:

— Пришел коваль за стол, в миску посвистал...

Ивашка успокаивал:

— Да мы, батусь, и сами с Анной рыбы наловили, огород деду Кузе убирали, он нам репу дал...

У деда Кузи была землянка неподалеку от улицы Кирпич-

ников, где в обжиговых печах закаляли тонкие кирпичи-плинфы из береговой глины.

В огороде выращивал дед брюкву, репу, из сострадания подкармливал мальцов, урывая от себя.

...Евсей оказался умельцем и в новом для него деле — чеканил монеты, как никто другой.

Через год перевел Храп Евсея резать штампы: ему показали, какие монеты чеканили херсонесские умельцы.

Были здесь дельфины с молнией, волы в плуге, луна со звездой, пшеничный колос, колчан со стрелами. Жене прежнего тмутараканского князя Олега Святославича (он женился в плену на острове Родосе, а потом возвратился сюда) выбили на печати: «Господи, помози рабе твоей Феофании Музалол, архонтессе Руси».

Однажды вырезал Евсей по княжьему приказу вокруг печати: «Владетель Тмутаракани и земель окрест моря Сурожского». А на другой изобразил архангела Гавриила и корабль.

* * *

Привоз серебра из Византии прекратился — торговлю перехватили венецианские и генуэзские купцы. Теперь серебро поставляла лишь Иверия. Князь платил за него икрой, солью, смолой, мехом, дрожал над каждым бруском. Все подсчитывал, сколько может получить, и все недосчитывался, бормотал: «Проклятые фряги», хотя при встречах ничем не показывал неприязни к своим опасным и удачливым соперникам в торговле.

На складе принимал серебро Миха — двадцатилетний брат осмяника Якима, сборщика торговых пошлин, ведавшего и мостовыми.

Был Яким высок ростом, строен. От матери — гречанки из Корсуни — унаследовал здоровый загар лица, тонкий нос с горбинкой, каштановые волосы, белоснежные мелкие зубы. Яким недавно стал родственником князя, и тот не мог подумать, что боярин, в сговоре с управителем, крадет серебро.

Отец Якима — друг Храпа — погиб в сече с половцами, а раненого семнадцатилетнего Якима Храп вывел на своем коне с поля боя. И поэтому был Яким по-собачьи предан спасителю, искательно глядел в глаза ему, понимал каждый его жест, выполнял безоглядно любое приказание своего повелителя.

В таком же повиновении и преклонении перед Храпом держал осмяник и своего грамотного брата Миху, в чьих руках на складе были весы, книги и даже княжеская печать для ящиков с монетами и складских замков.

Именно Храп назначил Миху кладовщиком: стража всегда беспрепятственно пропускала его обозы с серебром, и управителю Чеканного двора удалось уже вывезти в свой потайной склад пудов десять драгоценного металла.

* * *

Но с некоторых пор Храп почувствовал, что подозрения князя усилились, он сам просматривал записи Чеканного двора, хмуро глядел на управителя, сетовал на худой добыток.

Тогда, договорившись с Якимом и Михой, Храп решил представить дело так, будто склад ограбили.

У боярина было еще несколько верных людей в страже. Двух из них и выставил Храп у склада в ту ночь, когда на них «напали», связали, а пустую повозку угнали. Развязанные стражники крест целовали, что узнали среди татей Евсея.

Его и еще шестерых с Чеканного двора Храп бросил в яму, а наутро, надев лучший кафтан, сапоги из новгородского сафьяна, отправился в Детинец, здесь же, на Княжьей горе.

Он шел важно, выпитив живот. Миновал высокие хоромы Якима с каменным бассейном в глубине сада, с летней трапезной, обращенной к морю. Она не имела передней стены, лишь выюнки спадали сверху зелеными застывшими струями. «Влизался в милость,— сердито подумал о своем помощнике Храп,— а мне теперь за всех и за него, пустобая¹, отдувайся».

¹ Пустобай — болтун.

Позади остались сложенные из обтесанного камня казармы греческих наемников, план для воинских занятий.

Храп вошел в огромный княжеский двор. Возвышались белокаменные палаты. Отсвечивала на солнце чешуя оловянной кровли церквуски со звонницей и узкими окнами-слухами. На дворе сгружали с воза плинфы. Ветер вздымал облачка иввести, обжигаемой здесь же, в круглой печи. Два обеза лопатами-рыльцами ворошили кучу кирпичной крошки возле известкового раствора.

На земле лежали разноцветные куски яшмы, красного шифера, плиты поздреватого туфа, белые камни с высеченными львиными головами и надписью: «Чернигов — брату».

«Со всего света понавезли», — с завистью поглядел Храп.

На высоких лесах трудились укладчики — пристраивали новое крыло ко дворцу. Возле лесов стоял киевский мастер Твердила, почесывая бороду, разглядывал чертеж, процарапанный на длинной черепице, щуря глаза, что-то прикидывал, рассчитывал в своем плане.

«Не миновать беды, — думал Храп, поднимаясь по всходам к палатам. Перила походили на каменные мужские пальцы, сжимающие медный прут. — В гневе князь — бешеный».

Храп придержал шаг, проходя верхней колоннадой. Остановился у открытой аркады сеней, поглядел вниз. Замерли деревья: понтийские иглицы, таврический ладанник...

В соседнем дворе на крыльцо архиепископского дома под зеленовато-бирюзовой черепицей всходили черноризец отец Ферсоний и подслеповатый брат-библиотекарь.

Разноцветно переливались венецианские стекла на окнах женского терема напротив.

Позади сада лекарственных трав грудились клетки слуг, загонь для рабынь, погреба, ледник, пекарня, врытые в землю чаны для вина. Виднелся соколиный двор с ловчими птицами.

Храп вздохнул: «Богато живет, куда за ним угнаться». Пошел дальше, придумывая свой рассказ князю.

Тмутараканский князь Вячеслав уже прослышал о грабеже и нервно ходил по гридне.

Худощавый, сутуловатый, порывистый в движениях и речи, с красивыми русыми волосами, блестящими шелком, он был бледен от гнева, тискал тонкую ладонь.

Вячеслав не был воем, дурно сидел на коне, но любил море, мог без конца глядеть на него, мечтал создать могучий флот, сделать все Сурожское море своим, возвратить Азак, захваченный пятьдесят лет назад половцами, повести широкую торговлю. Потому и строил крупные ладьи, приходил на палубы заморских кораблей, знал новогреческий, арабский, латинский языки.

Русские уже пенили на «дубах» воды Эгейского и Мраморного морей, бывали в Андалузии, у берегов Иллирии, Крита, Сицилии, доходили до Геркулесовых столбов.

Князь зачитывался «Книгой путей и государств Ибн-Хордадбега»¹ о том, как русские купцы через море Джурджан² достигали нефтяной земли, а оттуда верблюдами добирались до Багдада.

...Вячеслав положил перед собой обтянутую бархатом книгу записей серебра, перелистал ее.

Когда Храп вошел и низко поклонился, князь пронзительно посмотрел на него, с отвращением отметив и бегающий взгляд боярина, и перхоть на плечах его кафтана: «Голова велика, а мозгу мало».

— Татей выловил? — от ярости хрипло спросил он.

— Выловил, княже.

Лицо Вячеслава пошло красными пятнами.

— Кто казну... княжью убыточил? — спросил он, заикаясь, словно с трудом подбирая слова: во гневе становился косен языком.

— Пришлый. Евсей со друзьями схитили.

¹ Книга появилась в сороковые годы IX века.

² Каспийское море.

— Сребро нашли?

— Ищем, княже. Упрятали где-то повозку...

— Сколько на ней было?

— Пудов десять, а то и боле...

Князь сжал кулаки.

— Я на то сребро мог построить корабли... Удавить татей в пыточной келье! Удавить!

Потом, поостыв, сказал:

— Удавить успеем. Признание вырви...

Храп возвратился в свои хоромы встревоженным: «Надо на пытках поскорее изничтожить опасных людей: на чужой рот вастежки не нашьешь, свинья — борову, боров — всему городу... А Евсея — для себя умыкнуть».

На него свалил вину, как на припшого, да потом спохватился: Бовкун позарез надобен был ему.

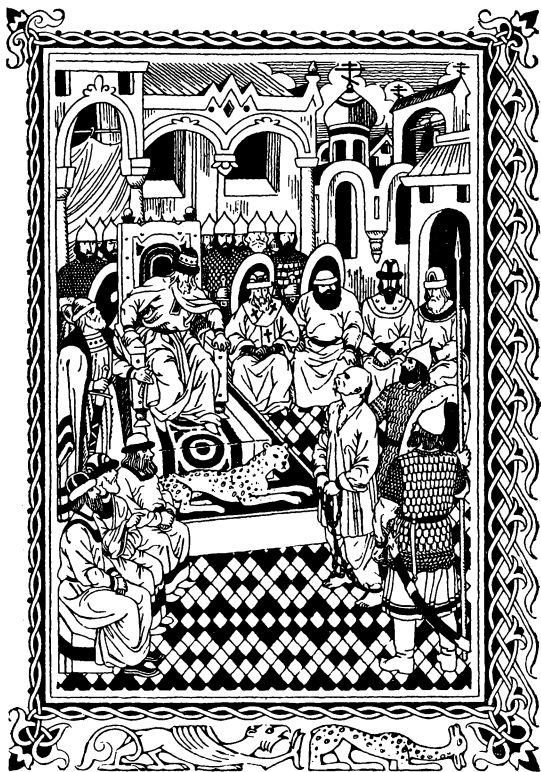
У Храпа тайная пещера в горе у дальнего лимана, где хотел он чеканить монеты из похищенного серебра. Вот и задумал увезти туда от казни Евсея, чтобы мастер этот смышленный чеканил ему монеты. А князю скажет: «Бежал Евсей и при бегстве убил стражника Силу». Этого Силу, что не поддался подкупу, безопаснее к праотцам отправить.

«И не в таких переплетах бывал, а находил выход, главное — словчить», — успокоил себя Храп. Он перекрестился: «Веруем во Христа нашего спасителя, и в нем наша надежда...»


Позвал сына-отрока, глядя на его румянцем налитые щеки, вздохнул: «Чего только не свершишь для чада». Был и еще один сын, да три лета назад задохнулся, играя: подбрасывал грушу и ловил ее ртом.

— Давай, Проша, споем...

Тонким, высоким голосом Храп запел чувствительную литургию, и при этом детские глаза его стали мечтательны, затуманились от набежавшей слезы.



СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

всей лежал на земляном полу одиночной пыточной кельи-ямы. Оковы горели на запястьях, сердце разрывала боль. Других невинных все эти дни увечили, повалив, били ногами по сердцу. Трое, не выдержав пыток, померли. Трифон — суший скелет, в чем только душа держалась — перед смертью ума лишился, показал, что он воз угнал, сбросил с кручи в залив.

Евсей пытали, потом поставили с очей на очи с подлым стражником Драным. Тот послух¹ сказал:

— Евсей воз нагружал...

Писец, скрипя пером, записывал: «Ночью умыслили казну князеву убить... Евсей серебро грузил листами...»

Евсей, стиснув зубы, повернулся на другой бок: «Что с чадами теперь станет?» От этой мысли боль в сердце становилась еще сильнее.

Хорошо, что живут хоть в своей землянке. Дед Кузя долго болел, Анна с Ивашкой досматривали за ним, перед смертью дед сказал:

— Переходите, святые души, в мою лачугу...

Там они и остались.

На княжьем дворе, огороженном высокой стеной, и творили лживцы свой суд неправый, на виду у хором, часовни.

Стояла весна. Цвели заморские розы. Застыли абрикосы и персики в цвету. Сновали розовые скворцы.

У ног князя лежал серовато-желтый, в темных пятнах, гепард. Животное было спокойно, только желтые, в коричневых крапинках, глаза поглядывали на Евсея зло.

Кривосуды важно восседали на скамьях помоста вокруг Вячеславова кресла. Были здесь вкрадчивый тихоня боярин Яким, гривастый тысяцкий Беловолос — строитель укрепления, городник с дряблым лицом и долгим нагнутым носом, княжьи телохранители — гридни.

¹ Послух — свидетель.

У архиепископа Арсения, с короткими кудрявыми волосами и малой узкой бородой, напшты на камчатую ризу-фелонь кресты и архангелы. Арсений смотрел на Евсея сострадательно, как богородица в соборе, его ласковые карие глаза словно бы зывали: «Смирись, на то божья воля».

Князь среди них сидел, вцепившись пальцами в подлокотники, подавшись туловищем вперед, словно для прыжка собрался. Видел его Евсей третий раз в жизни. Первый — в порту, на корабле, куда всходил в шлеме, жженым золотом изукрашенным, и шлем тот казался неуместным на палубе.

Во второй раз видел Евсей Вячеслава на Чеканном дворе, вместе с Якимом и Храпом. Тогда бросились в глаза холеные руки князя с тонкими пальцами. Они ласкали монеты, пересыпая их из ладони в ладонь.

А сейчас, на суде этом подлом, разглядел Евсей у князя светлые, почти белые глаза одержимого человека, не знающего пощады.

Гнев вскипел в груди Евсея: «Все вы, криводушные, изолгались... И храм тот построили, чтоб лжу возвысить, а суд страшный на земле творить... Лицемеры... Все лицом меряете... Как лицо важное, так и прав... Вот те, Аннушка, и одолень-трава...»

Бовкун остро оглядел ряды бояр: алые корзна, в серебре арабские пояса...

«Вырядились, убивцы, а убогим зиждителям хлеба нет... Даже кладбище свое вы огородили... Мыслите: «Чья сила, того и правда!»

— Винись,— приказал князь.

— Неповинен я... — сказал Евсей, выпрямляясь,— подлое измышление. Крови пролитие творите... и бесчестье...

Бояре зашевелились.

— Загради уста, громитель! — угрожающе крикнул тысяцкий, хватаясь за меч.

У князя тонкие пальцы свело, словно он ими Евсеево горло сжимал. Процедил брезгливо сквозь зубы:

— Воронья брань для орлов ничтожна.

И, вставая, будто мечом взмахнул:

— Завтра поутру на Чеканном дворе удавить, дабы другим неповадно было...

* * *

Евсей открыл глаза, сел на полу. Железки впились в тело, мозжили кости, зашлось сердце.

«Долго ль до утра? Значит, Евсей, такая твоя судьба! в Солнцеграде от удавки помереть».

Звякнули засовы двери, вошел стражник Сила. Он лучше других, добрее. Все поглядывал на Евсея, словно хотел ободрить, да не смел. Иной раз подсовывал корку хлеба.

— Сбирайся!

Сбираться-то недолго, все при себе: и горе, и тоска по чадам.

Евсея вывели во двор. По небу прошли первые предутренние полосы. Едва теплились, угасая, звезды. Вдали темными громадами высились княжьи хоромы. Мягкий морской ветер оведал лицо, утишал боль.

Вдруг кто-то ударил сзади стражника Силу по голове. Звук был глухим, будто удар нанесли железкой, обернутой ветошью. Сила упал замертво. Подскакал всадник, перебросил Евсея поперек коня и помчался сонными улицами Тмутаракани, высекая копытами искры.

* * *

Князя разбудил трясущийся начальник стражи. От страха он долго не мог произнести и слова.

Наконец, рухнув на пол, прохрипел:

— Евсей сбежал... Стража убила...

Князь, в ночной рубахе, всклокоченный, закричал:

— Всем в погоню! — Пнул ногой начальника стражи: — Тебя казню вместо беглеца!..

Стражники переворошили лачугу деда Кузи, били плетью Ивашку и Анну.

— Где отец?

Окровавленных, оставили на полу. Искли сообщников, бро-

силы в поруб Будимира и Милована, вылавливали на площади бездомных.

Евсей как в воду канул.

ТАЙНАЯ ПЕЩЕРА

Когда глаза привыкли к темноте, Евсей разглядел в слабом мерцании плоские невысокие своды пещеры, решетку, отделяющую пещеру от уходящего в темь коридора, тела спящих на каменном полу, неясные очертания каких-то куч, покрытых рогожей. В эту глубокую пещеру на краю косы, где тонкая земляная перемычка отделяла гору от короткого лимана Русского моря, приказал Храп своим помощникам свозить краденое серебро и здесь чеканить монеты.

Храп с Якимом уже бросили за решетку пять холопов, купленных на торгу, а теперь приволокли сюда и Евсея.

Евсей приподнялся, встал, разминая онемевшее тело. Глухо, будто за тридевять земель, казалось, шумело море. Или то шумело в ушах? Звякнули оковы.

Бовкун приподнял одну из рогож. Рука нащупала тонкие листы серебра. Под другой рогожей — зубила, резцы, молотки.

Так вот зачем затеяли эти подлые самовластцы суд свой неправый. Тати в бархатных кафтанах решили делать тайно от князя монеты.

Громыхнула, видно, дальняя железная дверь, к решетке подошел человек — лица его Евсей не мог разглядеть. Человек просунул через решетку кувшин с водой, куски черного хлеба, мясо.

— Слышь, Евсей, — сказал он. — Послужишь верой, порадеешь — выйдешь на волю. Монеты чекань точно, как для князя чеканил... Все серебро истратишь — пойдешь с детьми куда хошь из Тмутаракани да еще с собой и деньги унесешь. Давай руки, цепи отопру. — И вдруг закричал сипло: — Эй, сонные, неча разлеживаться!..

Поднялись взлохмаченные головы.

— Бовкун Евсей у вас за старшего будет, слухайся во всем его, делай, что прикажет...

И ушел в темноту. Снова громыхнула где-то вдали железная дверь.

К Евсею подошел огромный, обросший седой щетиной мужик.

— И тебя скрутили?

Спросил так, будто прежде встречались, хотя видел Евсей его впервые.

— Мерзлomu да еще и метель в глаза, — глухо ответил Бовкун.

Кто-то зажег факел, в пещере стало светлей. Поделили пищу, ели молча, обреченно. Каждый понимал: похоронены здесь живо.

Евсей наконец сказал:

— Может, подкоп сумеем свершить?

Сидящий рядом с ним рыжий мужичишка вздохнул тяжко.

— Да вот и Нечай о подкопе твердит... — кивнул он на соседа с седой щетиной. — Нет, не вырваться нам отсюда...

— И не из таких капканов выбирались. — Нечай отпил воду, передав кувшин, обтер губы. — Кому охота гибнуть руки сложа?

Бовкун оживился.

— Верно! Пятеро будут делать те проклятые монеты, а шестой наперебежку стену долбить. Денно и ночью. Чую, море здесь недалеко, может, к обрыву пробьемся.

Все немного повеселели, вроде б луч дневной забрезжил вдали: не подышать же покорно.

Нечай уважительно поглядел на Бовкуна — сила в нем еще есть, жизнь, видно, мяла, да не домяла.

— В работе шума поболее вершите, — посоветовал Евсей, — подкоп неслышной будет.

Рыжий — его звали Агапом — положил тонкий лист серебра на камень:

— Показывай, мастер, свою науку...

* * *

Дни и ночи потекли в тайной пещере тяжелой чередой. Уже дважды уносили отсюда молчаливые стражи ящики с готовой монетой, изрядно поубавилась горка серебряных листов, а пролом уперся в твердь, и надо было менять ход, отводить его в сторону.

У Якима с Храпом шел свой разговор в гридне.

— В пещере серебра еще на сколько ден осталось? — нервно покусывая тонкие губы, спросил Яким обеспокоенно.

— Да за месяц управятся.

— А дале что нам вершить?

— Удушим всех во сне, как курчат, — тоненьким голосом сказал Храп. — В райские кущи пошлем... — осклабился, поглядел на Якима детски круглыми глазами.

— Опасно, — посмел не согласиться Яким. — Не дай бог кто случайно обнаружит пещеру, и через год не уйти нам от княжьей расправы. Я другое надумал.

Яким вытащил из-за пояса черепок, стал чертить на нем.

— Вот перемычка... отделяет лиман от моря. Когда море отливает... на двенадцать часов... в лимане сухость... В часы перед бурей перемычку и разгрести... Море снова подступит, зальет лиман, все ходы пещеры и ее... для верности. В ней вода уж стоячей будет, никуда ей не деться, навсегда... Пещера-то вниз идет, под уклон...

Храпу план понравился. Спросил деловито:

— Сколько люда-то надо, чтоб разгрести?

— Человек шесть, не боле.

— Столько верных у меня есть...

* * *

Дочеканивали последние монеты, уложили их в последний ящик. В пещере стало пустынно. Страж, задержавшись у решетки, сказал весело:

— Теперь вскоре на волю вам... — Ушел, гулко отбивая шаг.

— Верь черному ворону, — процедил Нечай, — порешат нас, — и полез в пролом.

— Я тебя сменю, — бросил ему вслед Бовкун.

Все улеглись спать, но какой тут сон?

Евсей прислушивался к отдаленным глухим ударам молотка по зубилу. Жаль, что вдвоем там негде поместиться, дело бы пошло скорее.

Вот Нечай ударил особенно громко. Не услышали бы стражники.

— А давайте споем, — предложил Евсей, — вы только подпевайте, да громче...

Узники сразу поняли, для чего Евсей затеял это пенье.

Гей, гей! Ты, беда,
Меня засушила.
А кручина свалила. Та гей!

Может, первый раз в жизни пел Евсей. Неумелые голоса вразнобой подхватили с тоской:

Та гей!

Нечай упорно долбил камень и вдруг явственно услышал морской прибой. Он шумел где-то совсем рядом, за стеной, обещая волю.

Нечай с новой силой стал вгрызаться зубилом в камень, шептал, ободряя себя: «Ну, поддай, поддай!» Евсей первым увидел, как по коридору из тьмы хлынула вода на решетку.

— Затопляют нас! — только и успел он крикнуть.

Вода ворвалась в пещеру, заглушила предсмертные вопли, устремилась к Нечаю. Он сделал еще несколько отчаянных ударов молотком и захлебнулся.

СИРОТСТВО

После налета княжьих сыскных Ивашка и Анна долго болели от побоев. Их выходила соседка — крикливая, костлявая женка Пелагея. Поила душистым настоем, прикладывала, понося истязателей, листья прострел-травы к ссадинам.

Никаких вестей о судьбе отца не было, хотя упорно шел слух, что ему удалось бежать. Потом исчез и Милован.

Надо было думать о пропитании. Ивашка, надев длинную холщовую рубаху, порты до шиколоток, отправился на поиски работы.

За последние два года он вытянулся, и ему можно было дать больше его лет. На загорелом лице, у губ, проступили светлые волосы, в плечах стал он широк, как отец, и, как отец, ходил неторопливо, немного вразвалку, говорил скупно.

В порту и без него было полно голодных ртов. Ивашка пошел к рыбному торгу. Город казался доверху набитым рыбой. Она была тугими хвостами, выброшенная на песчаный берег, трепыхалась на удилищах мальчишек, шкворчала на сковородах обжорных рядов, кучилась возле чанов для засолки...

Ивашка подошел к берегу. В яме, обложенной камнем, с песком на дне, плавала красная рыба, ждала часа продажи. Проточная морская вода текла в яму из одного узкого желоба и выходила из другого.

Возле деревянных ящиков-солилен высились коптильня, балычница на четырех столбах с шестами поперек и кровлей сверху.

Балычный мастер-старик одним взмахом ножа отрезал нижнюю часть осетра, вынимал внутренности, отрубал голову, солил и вешал рыбу на жерди.

Покрутившись здесь, Ивашка возвратился к солильням. В деревянных ящиках томила красная рыба, в чанах, вкопанных в землю, — белая. Владелец солилен — приземистый, бородатый торгаш покрикивал на работных людей, что чистили, потрошили рыбу, корзинами вываливали ее с солью в ящики и чаны, задвигали их крышками, обмазывали глиной.

Юнец, чуть постарше Ивашки, высокий, заморенный, залез по приказу купца в ставок, поймал одну рыбину, ударом топора по голове оглушил ее и бросил в мешок, который держал покупатель. Видно, даже такая работа была не по силам юнцу, он вспотел, рыжеватые волосы на его голове взмокли, руки немного дрожали. Вокруг тошно пахло потрохами, крутым расолом, укропом, прихваченной солнцем хамсой, а над всем этим роились мухи.

Ивашка подошел к юнцу, когда он вылез из ставка, спросил запросто:

— Тебя как звать-то?

Юнец удивленно поглядел на незнакомца.

— Глебом.

— А я — Ивашка. Работу ищу.

Юнец крикнул издали:

— Эй, эй, чо там языки распустили!

Глеб быстро сказал:

— Ты поди к нему. Может, поставит, — а сам ухватился за корзину.

Купец оглядел Ивашку с головы до ног. «Крепкий, хоть и отощал».

— Возьму на пробу... Ларька, — позвал он шустрого молодого рыбака, — поучи рыбака, как чистить да потрошить.

Ларион повел за собой Ивашку, дал ему нож.

Белую рыбу и сельдь здесь солили вместе с чешуей, у сельди вырезали жабры.

Ивашка быстро освоился, и купец одобрительно сказал:

— Рыбы тебе с собой дам и два медных... Старайся...

Ивашка под вечер возвращался с Глебом в предградье. Залив походил на голубоватое зеркало. Солнце разбросало по небу красно-сиреневые перья.

Глеб оказался тоже сиротой, жил в землянке у чужой бабки на Проезжей улице. По дороге они купили хлеб.

— Иной раз такая рыбина попадет, — говорил Глеб, картавя: вместо «рыбина» у него получалось «гыбина». В речи Глеб приостанавливался на полуслове, будто преодолевая его. — Да-

весь белугу поймали, хошь верь, хошь нет — двенадцать шагов длины... пятнадцать пуд весу... Внутри у той белуги камень нашла с кулак. Рыбаки сказывали — к счастью...

К Ивашке и Глебу подошли три оборванца. Один из них — бельмастый — потянул к себе рыбу, заработанную Глебом.

— Что те? — испуганно спросил Глеб.

— Надорвешься! — ответил бельмастый. — Дай подсоблю. — И вдруг ударил Глеба кулаком меж глаз так, что тот полетел наземь.

Ивашка, бросив свою рыбу, саданул обидчика кулаком по уху, потом схватил придорожный камень, поднял над головой.

— Проломлю черепки!

И Глеб, размазывая кровь из носа, тоже ухватился за камень.

Налетчики попятились.

— Пошутить нельзя... — и пошли к морю.

Ивашка сочувственно посмотрел на Глеба.

— Больно?

— Да нет. Обидно.

— Вона землянка наша, — сказал Ивашка, — зайдем. Сестренка моя, Анна, верно, заждалась. И рыбу нам изжарит.

— Пойдем, — охотно согласился Глеб.

Анна встретила их на пороге. Глеб с изумлением уставился на миловидную девушку с двумя темно-русыми косами за плечами. На Анне — сарафан из крашенины. Чистый лоб ее перетянут цветной лентой с бисером, волосы гладко зачесаны, но возле маленьких ушей завиваются колечками. Точеную, нежную шею охватывает ожерелок из ракушек, словно пытается скрыть багровый рубец.

Глеб будто прилип к земле, не мог сдвинуться с места.

Анна, видя его смущение, засмеялась, при этом милые морщинки пролегли от ее вздернутого носика к губам, а светлосиние глаза еще более удлинились.

— Да вы зайдите, — пригласила она Глеба. — Я, чай, не кушаюсь.

Ивашка уже полгода работал на засолке.

Руки его потрескались, лицо загорело, а сам он окреп, стал мускулист.

Однажды, придя в свою землянку, он встретил сияющую Анну.

— Братик, — сказала она, мимолетно прикасаясь своей щекой к его, — и мне посчастлило.

На торгу ее увидела жена боярина Седеги с Серебряной улицы — Настаська.

Проходя рядами, боярыня грызла фисташки. На красивой шее Настаськи густо лежали кораллы — их-то прежде всего и приметилла Анна. А потом и волосы бронзового отлива.

Вдруг Настаська подошла к ней, спросила, глядя в упор густо-зелеными глазами:

— Пойдешь, девка, ко мне в услуги?

Анна от неожиданности оторопела, но сказала тихо:

— Пойду.

...Княжий милостник боярин Седега — высокий, с большой русой бородой — ведал постройкой кораблей, сопровождал князя в его поездках в Херсонес, Грузию, Трапезунд. У Седеги богатые, под черепицей, хоромы, с белеными внутри стенами, с печью, что топили соломой и нефтью, полно прислуги.

Дородной, холеной Настаське хотелось иметь в услуженье больше, чем у всех других бояр.

По одежде из темного недорогого сукна Седегу можно было принять за разбогатевшего владельца мастерской.

Он любил кипрские вина, парную баню, киевские песни, неплохо говорил по-гречески. Был смекалист, оборотист, умело грел руки на княжьей казне, отпускавшей серебро на постройку кораблей, а вот жену свою, Настаську, побаивался, зная ее взбалмошный, неумный характер.

Посмеиваясь, глядел он неприметно живыми, темными глазами, как Настаська, подражая фрягам, заводила для обогрева переносные жаровни, мудреные светильники, протирала

кожу лица византийскими снадобьями, красила брови и ресницы.

«И откель то в Настаське,—дивился он про себя,—ведь дочь сокольничьего, а поди ж ты!»

Настаська носила в маленьких ушах длинные голубые эмали, подвески, на груди — ожерелье с бабочками из цветных камней, а выше запястья — браслет с головой Афродиты. Облечившись во всю эту роскошь, Настаська часами крутилась у зеркала.

А поестъ гораздо была! Каждый день ей пекли пироги.

Особенно же любила Настаська давать советы мужу. Перечить он ей не рещался, но все делал по-своему.

С прислугой обращалась Настаська грубо, била по щекам, визгливо кричала на все хоромы, оскорбляя и понося.

Детей у Седеги не было, он очень об этом кручинился, а Настаська говорила, что ей и не надо — одни хлопоты.

Когда поутру в хоромаш Седеги появилась тихая, стеснительная Анна, Настаська начала громко поучать ее:

— Сложь руки не сиди! Все бегом твори, расторопно... Пойди медные ступки почишти кирпичом. Нет! Принеси убрूस...

Седега подумал не без жалости: «Еще один курчонок в борщ Настаськин попал». Заикнулся было, когда они остались одни:

— Детеныш же еще, ты ее сильно не неволь.

Но Настаська так яростно повела на мужа зелеными глазами в темных шелковистых ресницах, так воинственно подперла кулаками бока, что Седега сразу пошел на попятный, сказал примиренно:

— Да то и не моего ума дело.

Возвратилась Анна, принесла убрूस. Заметив пропыхнувшую в углу мышь, Настаська вдруг завизжала, будто ее резали, проворно вскочила на кованный ларь, крикнула Анне:

— Лови, лови ее!

Но мышь юркнула в нору, и Настаська, слезая с ларя, напустилась на Анну:

— Чо ж ворон ловишь!

Пнула ногой ларь.

— Перетряхни одежду, сопреет вся...

...И чего только не было тут: алая атласная шубка на горностаевом меху, другая — из собольих спинок, телогрея с серебряными узорными пуговицами, заморские ткани.

Анна в жизни не держала такое богатство в руках, даже разругаясь. «За век не переносить, — подумала она. — Вот кому не надобна одолень-трава».

* * *

Глеб, с которым Ивашка сдружился, как-то сказал ему, когда они стояли на берегу залива:

— Что же нам, всю жизнь рыбу потрошить, хозяйску каву набивать?

Ивашка тоже думал не однажды об этом. Надо было приставать к какому-то ремеслу.

Глеб покосился на друга — чего молчит? Осенний ветер-листопад нещадно лохматил пшеничные кудрявые волосы Ивашки.

— Есть здесь гончар — Каллистрат... Сам из Киева, а дед его — грек. Каллистрату помощники надобны, — словно советуясь, произнес Глеб.

— Сходить надо... — согласился Ивашка.

Небольшая керамическая мастерская Каллистрата стояла недалеко от залива.

Когда Ивашка и Глеб вошли в мастерскую, Каллистрат возился у обжиговой печи. На подставках лежали штемпеля-формы для выделки кувшинных ручек. На гончарном кругу стояли оранжевые горшки, словно освещенные солнцем. А на полу — высокие пифосы, светильники, игрушки в зеленых пятнах, желто-серые горшки со «звериными ручками», похожими на бараний рог.

Каллистрат оказался стариком добродушным, забавным. Юн-

цы ему, видно, понравились, и он согласился взять их в помощники. В позапрошлом месяце два его подручных отвозили кувшины в Азак, да так и не вернулись оттуда, видно, в беду попали.

В мастерской Ивашке и Глебу было интересней, чем на засолке рыбы, хотя и не намного легче.

Каллистрат колдовал над глиняным тестом, очищая его от ненужных примесей, подмешивая то морской песок, то рубленую солому, то ракушки толченые.

Посмеиваясь в седые, будто в морской пене, усы, говорил:

— Гляди, гляди, молодежь, как старче ворожит, сосуды разноличные творит...

У Каллистрата были свои любимые присказки. Если что ему не давалось, он сердито бурчал:

— Как с вербы петрушка.

Вспоминая старую историю, непременно завершал ее словами:

— Было, да на низ сплыло...

А когда заканчивал работу, потирая руки приговаривал:

— Аминь, и головой в овин.

По воскресеньям Каллистрат неизменно ходил в бедную церквушку у складских дворов. Казалось, ее занесло сюда с киевского Подола: было в ней всего три кадильницы да потрепанное Евангелие. Но Каллистрат защищал эту церквушку:

— В ней мизинному человеку¹ душевней. Собор не по мне,— и при этом зевал с повизгом.

В ремесле своем Каллистрат был мастером великим. Знал тайный состав поливы, примешивал к глазури золы пережженных трав и добивался тем яркости красок. Красноватые амфоры из особого теста покрывал он внутри хвойной смолой, чтобы дольше держалась в них жидкость. Любо было глядеть, как заглаживал Каллистрат бок кувшина мокрой рукой и травой, наносил рисунки и волнистые разводы особыми зубчатыми или плоскими палочками, а то рыбьей костью.

¹ Так называли ремесленников, купцов.

Гордостью Каллистрата были блюда: на них, прижав уши к спине, прыгали зайцы.

Ивашка и Глеб замешивали глину, разносили по домам бояр и купцов готовую посуду, тачкой отвозили черепицу, плитки для облицовки и к вечеру сваливались без сил.

ВАЛУН НА КОСЕ



уроженское море в сравнение с Русским блекло, как Ирпень рядом с Днестром.

Ивашка любил ходить к Русскому морю, на мыс, что вдавался в него воловьим языком. Дорога из города петляла узкой стежкой, почти заросшей травой, кустами серебристого лоха по краям, мимо стены монастырской, маленькой церкви-пещеры, вырубленной в скале отшельником Тихоном, мимо Лысой горы и гроба на берегу протоки. На белой мраморной крышке гроба искусный мастер в стародавние времена вырезал узорчатые кружки, казалось, их можно сдунуть с мрамора.

...Плыли над головой облака, то похожие на сад в розовом цвету, то на странников в серых одеждах.

Пахло пылью, нагретыми солнцем голышами, полынью.

На самой оконечности мыса лежал огромный валун, словно выброшенный морем в дар земле. Время сотворило в боку валуна вмятину. Ивашка клал руку на этот камень, будто обнимая его, и долго глядел на море, слушая его мудрый голос.

Сколько видело оно на своем веку... Тысячи лет обжигало солнце эти камни и этот берег. Тысячи лет, не утомляясь, набегала волна, обтачивая с упорством гранильщика валуны, одаряя цветными камешками. Ветры доносили запахи Царьграда и Трапезунда, неведомых земель, тихими голосами раковин рассказывали о них.

Море было то домашним, вспухало густо-синей опарой. В такие часы солнце разбрасывало на нем переливчатые рядна, зеленые колодцы с зыбкими водорослями и киселем медуз на дне.

Прибрежный камень, обросший зеленой скользкой травой, нежно ласкала пузырящая пена.

А то вдруг море свирепело, начинало клокотать водоворотами бездн и коловоротей. Черные крутые волны злобными половецкими ордами с яростным ревом бросались на скалы, гулко разбиваясь в брызги, по-змеиному шипя, откатывались.

Кричали зловеще чайки-хохотуны, выныривая из пенных котлов, где небо и море свивались в черный клубок, разгулявшиеся волны осатанело бились о валун, сшибались у берега...

* * *

Вот и сегодня, под вечер, пришел Ивашка к своему валуну. Море было тихим, изумрудно-синим. На самом окоеме его виднелся белый парус, казалось, по волнам плыла чайка с поднятыми крыльями. Дальние солнечные столбы уткнулись в море, и белый парус будто скользил меж этими столбами.

Недалеко от берега стали выпрыгивать колесами из воды белобокие дельфины, безбоязненно играть в пятнашки. Один из них не рассчитал полета, рухнул на острые камни берега. Ивашка подбежал к нему. Мертв! Ивашка сбросил дельфина в море. Немедля к своему собрату обеспокоенно подплыли пять дельфинов. Они начали оглаживать его лапами. Дельфин зашевелился и, осторожно подхваченный под бока другими, уплыл в море.

Ивашка с разбегу прыгнул вслед. Соленая вода свободно держала его в своих ладонях. Он перевернулся на спину, скрестил руки на груди. Море качало, как в зыбке. Поглядывало приветливо низкое небо.

Ивашка возвратился на берег, когда фиолетовый закат лег тенями на валун. Со светлой бородки и коротких усов стекала вода. В убаюкивающий шорох вплетался голос дальнего колокола, вечерний умиротворенный благовест. Молчали колокола Гуд и Бурлила, обычно подававшие голос кораблям в тумане. Сейчас, мягко выплывая, вызванивал Лебедь. Ивашка долго стоял у валуна, вел всегдашнюю свою беседу с отцом.

— Где ж тот Солнцеград? — спрашивал его Ивашка в какой уже раз.

«Будет, будет...» — тихо отвечали волны голосом отца.

Так захотелось увидеть его. Ведь тогда, в Киеве, тоже много месяцев не было и слуха... Может быть, и теперь неожиданно объявится.

Начинался прилив. Ивашка, глядя на белогривую череду волн, думал, что их подгоняет не только ветер, но и бледно проступившие на небе звезды, и загадочный поводырь-месяц.

В лад прибою потекли мысли о нелегкой судьбе Анны, о друге Глебе и Сбыславе. «Ей, верно, как мне, девятнадцать. Нет, меньше... Где она?»

Припомнились быстрые, озорные глаза Сбыславы, и грудь затопило дотоле неведомое тепло. Он подумал о Глебе: «Ему Аннуса по душе, а она и не ведает того».

Глеб был добрым, верным другом, но даже его Ивашка взял сюда, на косу, только однажды. Разговорчивость Глеба, суетливость мешали думать. Когда они вместе проходили мимо какой-то затопленной пещеры, Глеб сказал:

— Об этом месте недобрая слава... Каллистрат сказывал — люд в ней потопили...

У Ивашки тогда сжалось сердце: «Где только люд не топят...»

Сейчас, проходя мимо этого же места, Ивашка поглядел на скалу. Из щели тонкими струями, как темная кровь, сочилась вода, стекала по обрыву в кустах ломоноса. Ивашка ускорил шаг.

Ночь наступила сразу. Тело оведал прохладный ветер. Разгорались ярко звезды. Они бесстрастно глядели и на Тмутаракань, и на оставленную землянку киевского Подола.

Побывать бы в Киеве хоть один день, хоть один час.

Пахло лежалыми водорослями, рыбьей чешуей, солью — все это были запахи города, к которому сердце так и не приросло.

Багряная лунная дорожка пересекала море, тоже звала вдаль.

За поворотом Лысой горы открылись огни — на берегу залива жгли маячные костры, варили уху.

ЗДРАВСТВУЙ, КИЕВ!



нязь Вячеслав еще с весны приказал боярину Седеге сбить валку, чтоб повезла она Владимиру Мономаху в подарок икру и горчицу, а на обратном пути закупила мех.

Половецкий хан Сырчан, видя выгоду в торговле через его земли, обещал валку пропустить.

Но князь назначил для ее охраны большую дружину, приказал идти до Северского Донца, там передать валку из рук в руки дружине Мономаховой, оповещенной цепью конских подстав¹.

Валку посылал князь для того, чтобы скрыть истинную, главную цель — поездку в Киев осмяника Якима.

Еще четыре года назад тот мог бы ехать в Киев беспрепятственно, через русскую крепость Белую Вежу. Но теперь между Киевом и Тмутараканью пролегалая злая половецкая земля.

Охранная дружина с Северского Донца должна была возвратиться домой без Якима. Ему Вячеслав поручил вести с Мономахом тайные переговоры о совместном завоевании Азака. Вячеслав предлагал свою помощь с реки, дал Якиму свиток с надписью: «Скрытое слово». На свитке том синий оттиск княжьей печати: корабль у лукоморья, рыба, бугор соли.

С Киевом все сложно. Тысяцкий Ратибор, верно, хорошо помнил свое тмутараканское сидение и теперь, став правой рукой Мономаха, с подозрением относился к Вячеславу.

...Яким стоял перед Вячеславом посол послом: кафтан подбит рудо-желтой камкою, штаны атласные, сапоги желтого сафьяна. Принял свиток с молчаливой важностью, и на лице его князь не мог прочесть ничего, кроме бесстрастной готовности выполнить повеленье.

— И гляди, чтоб Ратибор не пронюхал, — наставлял князь напоследок Якима, — не то начнет отговаривать Владимира...

Валку готовили долго, и неожиданно для себя попал в нее Ивашка...

¹ Скорость передвижения в такой цепи — 75 километров в сутки.

Каллистрат сказал Седеге, покупавшему у него амфоры, что Ивашка умеет обращаться с волами, сам из Киева. Боярин взял его в валку.

Каллистрат и свою выгоду искал: поручил Ивашке привезти ему из Киева византийской глазури. «Возвернется, стану как след обучать ремеслу», — решил мастер.

Ивашка ходил сам не свой: неужто сбудется его мечта и он снова пройдет улицами родного Подола? Если б можно было прихватить с собой Анну, они, может быть, и остались в Киеве, но кто возьмет ее в валку? Да и как найдет их отец, если он жив?

...Им предстояло ехать Залозным путем — шел он мимо зарослей лоз, по-над Сурожским морем, на Шурукань.

Выехала валка на рассвете.

Анна, целуя брата, зашептала дрожащими губами:

— Теть Марье поклонись... Малявок поцелуй... И Фросе поклонись... Так завидую тебе, Ивасик, так завидую... Мне, братик, землицы киевской привези... горстку... Госпедь ты храни!

Сжимая руку Глеба, Ивашка тихо попросил:

— Ты для Анны будь замест меня.

Глеб ответил непривычно скупой:

— Езжай спокойно.

...Позади остались Золотые ворота. В густом тумане плавал купол собора. Колокол Гуд подавал голос тем, кто шел с моря. А град, что так и не стал родным, отдалялся, отдалялся и скрылся из глаз.

Сурожское море распахнулось, походило издали на ковыльную степь.

«Прощай, море, — мысленно обратился к нему Ивашка, идя рядом с волами, — еду к Днепру-Слаутичу...»

Ивашке на мгновение показалось: шагает рядом отец, спрашивает, щури хорошие глаза: «Осилишь путь, сынок? Все помнишь, чему учил тебя?»

Потом подумалось: «Может, Сбыславу где встречу?» И сразу

день стал светлее, и, ускоряя приближение Киева, он, как отец, сунул кнутовище за широкий пояс, негромко, но повелительно крикнул:

— Гей, гей!

* * *

Когда валка остановилась на отдых под Ставром, Ивашка распряг, пустил на выпас волов, подмазал мажу и отправился повидать Гудыма.

То место, где был пять лет назад его двор, заросло густым бурьяном и лопухами. Поднимались желтоватым замершим дымом высохшие тополя.

Босоногий мальчишка, клубя пылью, бежал по дороге. Ивашка остановил его:

— Здесь Гудым жил. Не ведаешь, где он?

Мальчишка шмыгнул облупленным носом, поглядел с любопытством.

— Половцы огнем пожгли. Гудыма с женой истерзали. Печальным возвращался Ивашка к своей валке.

И снова путь... Дикие сады, где стаи дубоносов с вскриками «ци-и-ик» налетали на вишни, раскалывая косточки толстыми клювами. Ракита и черная ольха в левадах. Пропитанные молниями рябиновые ягоды в лесу.

В камышовых зарослях копошились лысухи, курочки. Молодые утки-хlopунцы били неокрепшими крыльями, как ладошками, по воде. В сумерках источала в сосняке резкий запах ночная красавица в венце желтых листьев. Прятались в бурьянных балках волки.

А степь то и дело, как человек, менялась в лице: бледнела там, где цвела таволга, синела в разливе колокольчиков.

Высились холмики байбаков, пшыряли серые куропатки. Степь лежала то утомленной от жары, то догоняла грозой. Тогда ветер пригibal ковыли, распарывали небо молнии, зверино рычал гром, стлались, будто дым пожарищ, свинцово-синие, рваные тучи, и хотелось вдавиться в землю, найти у нее спасение.

Но уходила гроза, и степь наполнялась птичьим разноглосьем, неяркими красками.

...Все эти дни и недели Ивашка словно заново родился на свет. Глаза его сияли, вбирали знакомые запахи. И каждый час рядом был отец-пестун. Простодушно смеялся над Анниними шалостями... Спрашивал строго сына: «Ты для чего живешь?»

И верно — для чего? Для трудолюбства, для того, чтоб убедить Анну, повидать свет и оставить на земле добрую метку...

«Но ты ведь еще ничего не сотворил, — требовательно глядел отец. — Лжи и насилью мало противился... А род наш всегда жил в правде...»

Смолистый запах дальнего бора сливался с запахом чабера.

Орел-могильщик опускался к гнезду на вершине высокого дерева, держа в клюве суслика. «Рак-рак!» — вскрикивала голубая сизоворонка. «Хэ-хэ!» — словно в ответ ей скрипела сойка.

Ивашка оглаживал вспотевший бок вола.

— Гей, гей!

* * *

Бешено забилося сердце Ивашки, когда показался Киев. «Здравствуй, батусь!» — хотелось крикнуть ему.

Жадно вбирали глаза желтеющие заросли на берегах Крещатика, днепровские кручи, уступчатые холмы в осеннем наряде, Девичью гору в красных листьях рябины, узкую ленту Боричева взвоза. А вон гора Щековица, белые стены Детинца, сторожевые башни, главы Софийского собора, печальные церквушки Подола, новый, неведомый мост через Днепр.

Вот так же осенью возвращались они с отцом в Киев, везя соль. И те же вербы по-над Днепром... И та же синяя даль, куда улетают журавли... И так же утомленными голосами зовут к себе колокола.

...Сладив все дела в валке, Ивашка пошел к своему детству в дальнем углу Подола на Копырьевом конце.

Вот и знакомая улица. Темнели грачиные гнезда на старых акациях. Уходило в синее марево солнце, небо в желтоватых

подпалинах нависло над днепровской кручей, над заброшенным двором Бовкуна.

Покосился плетень с калиткой, и береза сиротливо стояла у порога землянки с провалившейся соломенной крышей. Стропила выступали, как ребра у клячи. Да и по улице было немало таких же заброшенных, покинутых землянок, обросших мхом.

Ивашка переступил порог землянки: пахнуло плесенью, запустением; паутина обволокла давно затухшую лампаду в углу. Ивашка вышел во двор. Из колодца, когда-то вырытого отцом под рябиной, женщина в темном платье тянула бадью с водой. На камне-скамье у калитки сидела девочка годков шести.

Ивашка постоял над ступеньками, ведущими вниз к Днепру. Их было сорок семь, Ивашка хорошо это помнил, но спускаться к вербам не захотелось. Посмотрел тоскливо на дуб в углу двора, подошел ближе к нему — на коре сохранились вырезанные им в детстве копы и щит. Да как же это было давно!

Рядом с дубом горбилась засохшая яблоня. Однажды Анна залезла на нее, но яблок не нашла. Ивашка, стоя внизу, замахнулся топором на дерево:

— Уродишь?..

Анна сверху ответила за яблоню:

— Урожу!

— Ну гляди! — шутливо пригрозил Ивашка. — Не то... — Он легонько ударил обухом по стволу.

А еще совсем маленькой, Анна, пригибая пальцы к ладошке, частила:

— Сорока-ворона кашу варила... — Дойдя до большого пальца, строго хмурила белесые брови: — Этому не дала, он — коротыш... Дрова не рубил, воду не носил.

Ивашка тревожно подумал: «Не обижает ли кто Аннусю? Нет, Глеб заступится».

Правду батусь говорил: «Легче во тьме пребывать, чем без друга».

Ивашка набрал в мешочек горсть родимой земли. «Повезу Анне, обрадуется». Пошел в сторону колодезного сруба.

Женщина подняла лицо от бадьи и вскрикнула:

— Ивашенька!

Он с трудом узнал в поседевшей женщине когда-то златокудрую жену Анфима.

— Теть Марья!

Кинулся к ней. Марья обняла его, положила голову на плечо Ивашки, разрыдалась. К ней испуганно жалась та девчонка, что недавно сидела на камне, тревожно светились ее темные звездочки-глаза.

— Мои-то... И Марфа и Лисавета с глаза померли... Вот одна осталась...— прижала к себе рукой девочку. Словно оправдываясь, сказала:— Кажись, и не плачу, а слеза бежит...— Вздохнула виновато:— Нужда изглодала. Ну пойдем, пойдем к нам в избу. Где отец-то? Анна?

Узнав об исчезновении отца, Марья запричитала:

— Сиротинушки вы мои горькие... Что за доля наша разнесчастная... Извели Евсея, как мово Анфима...

Бросив руки на стол, уткнулась в них лицом, замерла.

Потом, придя в себя, тихо сказала:

— И попотчевать-то нечем в скудности... Пелагеюшка,— попросила она дочку,— достань казанок со щами.

Пелагея метнулась к печи, а Ивашка стал торопливо развязывать узел.

— Тетя Марья, есть вот хлеб у меня и сала шмот...

— Пелагеюшка,— тихо сказала Марья, подбирая волосы под платок,— сбегай к Осташке, к дяде Петру с Фросей, скажи — сын Евсея вернулся.

Вскоре в избе Марьи стало тесно от народа, пришел даже старый гончар Агафон, у него скрывался Евсей перед побегом из Киева. Борода деда свалилась в клок, хрипы раздирали грудь. В прошлую осень отнялись у него язык и левая рука, да потом отпустило.

Петр Детина, отбросив костыль, долго обнимал Ивашку, гулко хлопал по спине, втискивая в его плечо грушеватый нос. Отстранив, вглядывался, словно глазам своим не веря.

— Вырос-то как! Ну, точно Евсей. И шишка возле уха. Вот схожесть на удивленье! Ну, гостек, ну, порадовал!

Когда Ивашка повторил рассказ об отце, все приумолкли. Фрося всхлипнула, вытирая глаза, прошептала сдавленно: — Может, еще жив где...

Лицо Петра стало серым, толстые губы задрожали.

— Не такой человек Бовкун, чтобы весть о себе не подать, коли жив был бы...

Дед Агафон поминально перекрестился. Петр что-то тихо сказал Фросе, и она исчезла.

— И у нас тут, Ивашка, бояре лютуют, — произнес Петр густым басом, глаза его мрачно блеснули. — Тысяцкий Ратибор — собака не лучше Путяты... Злые дела множит... Люд взвыл... Путятю-то миром в смоле утопили, и этот дождется...

— Казначей Нажира кровь пьет, — скрипнул зубами Хохря. — Ненасытству и алчности себялюбых предела не ведают...

Дед Агафон закивал седой головой, покряхтев, подтвердил:

— Богатый, чем боле собирает, тем ненасытней...

— Сказывают, — громыхнул голос Петра, — саранча половецкая из-за Дона ползет. Вот-то еще беда...

— Ну, ее Мономах не один раз давил... — сказал Хохря.

— «Давил»! — ожесточенно выкрикнул Петр. — А сколь наших полегло и вороны их очи выдрали!

Возвратилась Фрося, принесла столбцы, печенные из гороховой муки, кувшин с брагой, соленых огурцов.

— Помянем Евсея, — мрачно сказал Петр, разливая брагу по кружкам. — Эх, ватаман, ватаман, — с болью в голосе произнес он, — разметало твою ватагу... И сам ты сгинул... А все ж, сколь не думай, лучше дружбы не надумаешь!

Он опорожнил кружку, хрустнул огурцом, да, видно, пища в глотку не шла. Расстегнул ворот рубахи, обнажив волосатую грудь, с ожесточением потер ее ладонью.

— Слышь, Евсеев сын, — повернулся Петр всем туловищем к Ивашке, — давай я те с горя былинку спою, что отец твой любил. А ты, Фрося, вторь...

Петр, положив обрубок ноги на костыль, уперся спиной о стенку избы и повел:

Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские...

Марья не выдержала, застонала, и слезы полились по ее щекам.

— Мы с Анфимом ту песню певали...

А Ивашка тяжело вздохнул: «И Киев-город вроде родной и... чужой».

* * *

Ивашка пробирался по шумливому торгу на Подоле. Он только что слушал здесь старого сказителя былин и сейчас думал: «Был бы жив батусь, может, тоже сложил былинку про Днепр-Славутич — брата русской Дон-реки, про лукоморье и Тмутаракань — град двух морей, про черных воронов-бояр, что всюду утесняют убогих, приносят им беды неисчислимые...»

Ивашка поднял голову и остолбенел: перед ним стоял отец Сбыславы Колаш. Темные волосы его посеребрило время, прежде живые, глаза потускнели, лицо было мрачным.

— Дядь Колаш, — робко сказал Ивашка.

Колаш оглядел ладного парня. Нос респкой, весь облик словно и знаком, а вспомнить не мог, где встречал.

— Евсея сын я... Ивашка. Мы на Дон бегли, а вы нас приютили.

— О! Хлопчєня! — обрадовался, оживился Колаш. — Нашли, бегуны, долю на бродях?

Услышав печальный рассказ Ивашки, Колаш снова помрачнел.

— Всюду нас истребляют... Я и сам едва выдрался из долгового поруба... Все, что привез тогда с Крыма, — прахом пошло.

Они присели под деревом, и Колаш рассказал, как очутился здесь.

...Переяславский князь отправил своего воеводу с частью дружины в дальние земли. В это время в городе и началось... Посадский человек Кузьма пришел к боярину Дворкову жаловаться, что его, Кузьму, ни за что приспешники боярские батогам били, закон Мономаха рушили.

Дворков приказал жалобщику батогов прибавить.

Тут уж крик поднялся среди челяди и холопов:

- Заместо закона — обида!
- Кто сильнее, тот и правее...
- Сегодня — его, а завтра — нас...

Посадские пошли бунтом. Колаш свою улицу подвнял. Осадили князя с младшей дружиной в Детинце.

Князь послал утишать народ протопопа Иакинфа с иконой святой богородицы, с попами, облаченными в ризы.

А тем часом мчался гонец в Киев за помощью.

Владимир Мономах немедля прислал три сотни своей дружины: в Переяславе несчетно посекали худого люда. Колаш в грудь был ранен, но сумел с дочкой из города бежать...

— Да разве здесь безопасно? Сыск начнут,— горько закончил свой рассказ Колаш и опустил голову.— Может, на Дон податься? — словно советуясь, поглядел он на Ивашку.— Так половецв боязно. А рассудить: чем бояре да князья лучше их?

Ивашка наконец решился спросить:

— Сбыслава-то где?

Лицо Колаша посветлело:

— У тетки в Ирпени спрятал... Совсем взрослая девица стала... Тебя вспоминала... — Прищурился хитро: — Поклон передать?

Ивашка покраснел до корней светлых волос:

— Передайте...

ТМУТАРАКАНСКОЕ СИДЕНИЕ



В лето 6628 года¹, июня первый день, возвратилась валка из Киева в Тмутаракань. Посчастливилось ей благополучно проскочить мимо Азака. Немного позже половецкий великий каган Атрак двинул основные свои силы в киевские пределы. А брату Узембе, с двадцатипяти тысячным отрядом, приказал взять Тмутаракань. Неприятно нависал он за спиной Атрака.

Вячеслав, предвидя возможный налет, посылал еще в марте к черниговскому князю Давиду Святославичу и епископу Феок-

¹ 1120 год.

тисту гонцов с просьбой о помощи. Молил «брата старшего в случае беды выручить». Но ответ получил уклончивый, как и от Мономаха, привезенный Якимом. В Киеве Вячеслава называли не иначе, как «сурожанином», опасливо и ревниво поглядывали издали, с помощью не спешили. Видно, в беде надо было рассчитывать только на свои силы.

Половецкий стан — разборные кибитки, двухколесные повозки с детьми, кумысными бурдюками, медными котлами, походные идолы с чашами у пояса, стада овец, быков, конские табуны — раскинулся на тысячи шагов, у кургана «Орлова могила». Казалось, рядом с Сурожским морем разлилось море половецкое — стойбище юрт.

Потрескивали кизяки в кострах. Подламывая ноги, неторопливо опускались на землю верблюды, словно облепленные рыжевато-серым войлоком. Тонко ржали жеребята. В стороне от задымленных юрт с их потертыми коврами высился шелковый шатер малого кагана Узембе, охраняемый воинами с серебряными копьями. К железным приколам, воткнутым в землю, привязаны оседланные кони Узембе.

Сам каган — скуластый, низколобый, лет тридцати — сидел, поджав под себя ноги, посреди шатра, слушал военачальника Амурату.

У Амураты круглые нагрудные бляхи, серебристые нашивки на рукавах длиннополого кафтана, Амурата невысок, с бронзовым лицом, узкими щелями глаз, говорит отрывисто, как команду отдает.

— Лазутчики донесли... Тмутаракань оборонять могут тысяч пятнадцать... Урус доверчив, беспечен... Пустим к вечеру живую валку из переодетых... Они войдут в город... Резню начнут... Тут мы и подоспеем...

Узембе думает: «Хитер... может, когда и меня прикончит». Они, правда, в знак побратимства пили недавно кровь из пальца друг друга... Да ведь власть сильнее крови.

Узембе соглашается:

— Посылай валку... Самых бесстрашных подбери, кто по-ихнему говорит...

Амурата, низко склонив голову в колпаке, отороченном лисьим мехом, выскользнул из шатра.

В стане веселье: под звуки дудок пьют кумыс, достав из-под седла куски вяленого мяса, пропитанного конским потом, рвут его крепкими зубами. Такие любому перегрызут горло.

Вон отважный воин Аела в легком плаще, под которым видны плетъ и аркан. Отрезав ножом ломоть мяса от убитого коня, Аела надкусил лакомство, а лучшую часть его поднес своей невесте Багельме. У нее — узорчатый кафтан, шаровары заправлены в сапожки. Из-под огромной шапки с меховой опушкой и желтым широким верхом выскользнули на спину две толстые черные косы, нарумяненное лицо засияло от удовольствия.

— Аела! — тихо позвал Амурата.

Воин подбежал.

У него кривые сильные ноги всадника, маленькие острые уши. В колчане — стрелы с орлиным опереньем, на поясе — кресало, два длинных ножа и кожаный мешочек с сушеной кровью рыси.

Аела с готовностью уставился на Амурату: только слово вымолви — вскочит на коня, помчится, куда велит, убьет, кого велит.

И конь у Аелы такой же лютый, как хозяин, — грызет противника, бьет его копытами...

— Ты по-урусски... говоришь? — спрашивает Амурата.

Аела озадачен.

— Мал-мала...

— Пойдем ко мне... в шатер. Отличисься — награжу...

* * *

Ивашка передал сестре киевские гостинцы — ленты, кусок льняной ткани, цветной платок. И особо — горсть земли, взятой в их дворе. Анна долго плакала, узнав о смерти Лисаветы

и Марфы. Все расспрашивала о тетке Марье, о Фросе... Сказала печально:

— А батечки так и нет...

— Ну, а ты здесь как? — спросил ее брат.

— Притерпелась, — не глядя на Ивашку, ответила Анна. Не хотела расстраивать брата рассказами о надругательствах Настаськи, ее неумной злобе.

— Глеб-то помогал?

Анна подняла на брата лучистые, не умеющие лгать глаза.

— Он славный...

Она краснела так же, как брат, до корней волос. Ивашка подумал: «Ну то и ладно».

А Глеб и впрямь не только заботился, но и баловал, как мог, Анну. То приносил ей ожерелье из розового, прозрачного сердолика, найденного на берегу, то мидий, собранных на прибрежных скалах. Девушка, соскоблив водоросли, открывала ножом створки, извлекала мидии и жарила их с луком.

А то как-то на восходе солнца набрал Глеб у песчаной отмели греющихся крабов, и Анна, сварив их в морской воде, с наслаждением обсасывала клешни.

Прощавшись с сестрой, Ивашка пошел в мастерскую Каллистрата.

Стояла жара. Но вдруг с моря набросился на город смерч. Пыльный столб завихрил, прошел по Сурожской улице, срывая крыши, и умчался. Только в небе теперь засветили на какой-то миг три солнца, а потом сошлись в одно.

Ивашка, укрывшийся во рву от смерча, добрался до мастерской.

Каллистрат был доволен: все привез, что надо, ничего не утаил, сдачу отдал.

Сказал твердо:

— Умельство передам...

А Глеб был счастлив, что друг возвратился жив и здоров и даже привез ему кресало. До позднего вечера расспрашивал Ивашку о Залозном пути, о Киеве...

Ночью они слышали со стороны Золотых ворот какие-то крики, вой собак, по улице бежал человек с факелом, кричал: — Половцы! Половцы!

Ивашка прихватил толстую палку, Глеб — железный прут, и они побежали к Золотым воротам.

На земле валялись убитые половцы и несколько стражников. Народ толпился вокруг распряженных мажар. Пожилой стражник рассказывал:

— Валка подъехала к вратам... Ктой-то кричит по-нашему: «Пустите! Половцы за нами гонятся!.. Из Чернигова мы... Пустите, в городе пошлину заплатим». Наш-то Сидор ворота открыл, стали они въезжать. А Сидор разглядел: на дне одного воза половцы притаились. Сидор в крик: «Лазутчики!» Те, что за воротами остались, вскочили с мажар. Наши едва отбились, задвинули засовы ворот, опустили решетку. А кого впустили, уже здесь прикончили.

Ивашка подошел к одному из убитых. На земле лежал немногим старше его половец с маленькими острыми ушами. Словно припал к земле, прислушиваясь к приближающемуся конскому топоту.

«Небось у него своя Сбыслава есть,— подумал Ивашка,— так ему, вражине, нас губить надо».

* * *

На рассвете половцы начали жечь предградье, и над ним встала дымная заря.

До этого на дальних подступах к Тмутаракани они уничтожили виноградники, пасли коней на пашнях, разгромили поселение хозар, их заставы.

Теперь в самом Подоле все предавали огню и мечу, перебили старых, оковали в полон остальных, разграбили церкви, осквернили кладбище, превратили в конюшню монастырь.

В Тмутаракани началось смятение. Купец с выпяченными от страха рачьиими глазами предлагал вынести половцам хлеб-соль. Его избili до бесчувствия, кричали гневно: «Шелудивых убоялся!» Еще до подхода главных сил половцев, кто побогаче,

на плотах, в ладьях перебрался в Корчев через пролив. Многие в сумятице утонули. Цены на хлеб повысились втрое; купцы лживили, что погибли их валки, потому и вздорожанье. На торжищах внутри города то там, то здесь собирались бурливые веча. Подступая к Детинцу, народ кричал:

- Оружье нам давайте!
- Проучим пакостников!
- Лучше в бою погибнем!
- Встанем заедин, а в бесславье не сгинем!
- Доспевайте!
- Оружье! На стенах отобьемся!
- Половцы всех хотят искоренить, град испепелить!

...При коптящем пламени светильника летописец тмутарканский Алекса писал в келье, примыкавшей к собору. «Тоя ночи учинилась в граде тревога от близости неприятеля, что хоче кровь христианскую пролить беспутно. От самовидца слышал: половцы поганые, батог яростный провидения, зло и вред умышляющие, рыщут на предградье, прокладывают тропы кровавые... Сменю и я перо на мечь».

Тень от всклокоченной головы Алексы плясала по стенам кельи, перо скрипело и словно задыхалось.

* * *

Князь стоит у окна верхней грядни. Отсюда ему виден весь половецкий стан.

Позади, за спиной Вячеслава, привычные вещи: полки с морскими путеводителями, книги на арабском, латинском, еврейском языках... Переводы Георгия Амортала, «Взятие Фессалоник» Иоанна Камениата.

На подставе горделиво высится терракотовая вяза с лепными узорами. Стену, облицованную зелеными плитами, украшает турий рог в серебряной оковке, с чудищами, что грызутся. На столце, вразброс, — коробочки из моржовой кости.

Неужто все рухнет и станет добычей степи?!

Князь ссутулился, мысленно произнес слова из псалтыря: «Не оставь, господи, без внимания стремлений моего сердца! — хрустнул пальцами с перстнем в виде корабля. — Но прими нас всех и помилуй».

Вячеслав прошел из угла в угол гридни. «На чью помощь рассчитывать? — думал он. — Византийцы разбили под Херсонесом печенегов. Но Иоанн Комнин¹, верно, хочет, чтобы Тмутаракань ослабла в борьбе с половцами... И Давид Строитель не пожелает с ними ссориться... Теперь надо полагаться на свои силы.

Ну, соберет воевода пешцев да тысячи четыре младшей дружины... Наймитов — готов и греков — сот восемь. Да отряды союзников: ясов, хозар, кософов. Мало... совсем мало...

Может, послать Якима к кагану, предложить богатый откуп? Обманет, проклятый, и откуп возьмет и град».

Он быстрее зашагал по гридне. Толстый персидский ковер мягко пружинил под ногами.

«Надобно поднять и мизинных людей... Захотят ли то светлые бояре? Собрать смыслящих, учинить совет? Иль самому решить?»

Он спустился по мраморной лестнице, прошел в соседний архиепископский двор, в палаты под шатровыми кровлями. Арсения застал в его палатной церкви.

Выслушав князя, архиепископ перекрестил Вячеслава:

— Да будет с тобой бог! В сече с половцами, злобой преисполненными, всяк тмутараканец — млад и стар — послужат тебе. Град будет тверд ко взятию, а я помолюсь о Русской земле.

* * *

Тревожно вскрикивают сплошные колокола, призывно трубят трубы, грохочут бубны.

Вячеслав, бледный, в окруженье дружины выходит на крыльцо хором. Став под знаменем, обращается к тмутараканцам, затопившим княжий двор:

¹ Император Византии.

— Братие и сынове! Вой наши всегда мужеством получали честь пред народами. Не уступайте в храбрости отцам и дедам своим, не положите на себя посмеяния. Лучше с честью умереть, нежели с бесчестьем жить...

Ивашка и Глеб стоят в толпе рядом. Ивашка думает: «А кто батуся мово загубил? — Но тут же пришла мысль об Анне: — Как же ее половцам отдать?»

— Лучше голову сложить, нежели в стыде, разоре и полоне быть, — слышался голос князя, — перебьют вражины и сосущих молоко...

Тишина стоит такая, что долетают крики чаек над заливом.

— На краю земли мы родной, щит ее и надежда... О стены черствые града нашего разобьются вражьи волны... Примем славу, от Христа небесные венцы, от людей похвалу...

«И батусь бы защищал Тмутаракань. Хоть и полно здесь влудней, а все ж отчина», — решил Ивашка и шепнул Глебу: «Станем на защиту?» Глеб кивнул головой: «Станем».

Неторопливо, могуче зазвонил соборный колокол Буревой, тоже звал на стены.

Оружье раздавали на торгу, у церкви Параскевы Пятницы, возле собора у училищной избы на Глебской улице.

Нет хуже покорного ожидания гибели. Теперь всех охватило единое желание — отстоять город, все помыслы направлены были к этому. Точили наконечники стрел, натягивали тетиву. В башнях-вежах, у щитов с прорезями для стрельбы, засели лучники и пращники. Под стеной¹ готовили чаны с кипящей смолой, варом, горшки с нефтью, бревна. Складывали запасы копий и стрел. На верхнюю площадку Золотых ворот втащили камнемет. Делали завалы у Хозарских, Киевских, Косожских ворот.

¹ Она была сделана из сырцового кирпича, с каменным панцирем. Ширина стены — 5 сажень («прямая сажень» равна 152 см, или трем локтям), длина — 4 тысячи шагов.

Опустел залив. Одни суда отплыли в дальние края, другие — переждать в тиши Страны голубых вершин. Несколько же с лучниками отошли от берега на два перестрела из лука, чтоб в нужный момент помочь городу своими стрелами.

* * *

Ночью тмутараканцы сделали вылазку, перебили с десяток половцев, взяли в их стане одного воя, притащили в город. Наутро сам князь допрос учинил, требовал сказать, сколько половцев под стенами. Широкоскулый, с белой слюной, запекшейся в уголке жесткого рта, половец зло глядел на Вячеслава узкими глазами и молчал. Князь решил уже бросить пленного в поруб, когда тот заговорил:

— Нас боле, чем песка на берегу... Захлестнем град петлей, конскими хвостами пепел разметем...

Вячеслав опалил половца бешеными глазами, приказал слугам:

— Казнить на площади!

Под вечер Глеб с Ивашкой, поднявшись по восточным каменным ступеням, засели на стене. Камни еще хранили тепло дневного жара. Солнце зашло за темно-синюю тучу, и золотой ободок обвел ее края. Быстро темнело. Над главной башней трепетало простреленное половцами княжье знамя, остальные двадцать три башни уходили вдаль.

На краю моря вспыхивали тревожные зарницы, в небе зажглась над головой кровавая звезда.

Половцы пускали редкие стрелы, и они со зловецим свистом впились в щиты-забралы. Потом и стрелять перестали. Ночь обволокла притаившийся город. Тишина разлилась во круг. Только изредка в неприятельском стане раздавалось лошадиное ржанье да вдали, в нескольких поприщах¹, горели волчьими глазами бесчисленные половецкие костры.

¹ Поприще равно 115 шагам.

Что принесет граду восход солнца? Чьей кровью обогрятся камни стены?

Пала ночная роса. Глеб продрог, Ивашка, приваляясь к нему плотнее, спросил тихо:

— Боязно?

— Нет, — ответил Глеб и подумал об Анне.

Внизу опять возник шум. Половцы погнали пленных заваливать ров срубленными деревьями, сухими водорослями и землей в мешках, связками тростника, — верно, готовились к утреннему штурму. Слышались выкрики-угрозы, стенания избиваемых.

Поджарый седовласый воевода Сиг приказал бросать со стен в ров кadi с нефтью и горящие факелы, поджечь завалы.

Ров разгорелся огромным костром. В свете пламени резко проступали пустынная пристань, башни, стены. Пахло жареной падалью, паленым тростником, валил жирный дым.

Туча стрел посыпалась на стену, одна царашнула Глеба по плечу. Пожилой тмутараканец рядом с Ивашкой захрипел предсмертно — стрела впиалась ему в горло.

Потом все стихло.

Ивашка вадремнул, и ему привиделась весенняя степь в алых тюльпанах-воронцах...

* * *

Вода в заливе зарозовела, легкий туман поплыл над ним, когда у половцев свирепо заиграли дудки — снова пошли на приступ ворот и стен Тмутаракани.

Со стороны пролива подошли русские ладьи, стали посылать в половецкий стан стрелы.

В двух местах половцам удалось перебраться через ров, приставить к стене лестницы. Вот уже первые щиты, обтянутые кожей, острые шлемы появились над крепостью.

Ивашка молотком ударил по шлему, и половец с криком полетел вниз. Ивашка ухватился за свой меч, неистово стал рубить им. Ненависть захлестнула его, удесятирила силы.

Глеб, подтаскивая вар, кричал: «Сторонись, ожгу!» — бросал колоды на головы осаждающих, сбивал их с лестницы.

Отряд половцев ворвался в башню над воротами, стремясь захватить камнемет. Завязалась рукопашная. Русский воин, словно обняв степняка, покатился с ним в ров.

Стрела отсекла мочку уха Ивашки.

Приступы половцев, казалось, шли бесконечными волнами. Но вот они стали слабее и вовсе иссякли.

НАСТАСЬКИНА РАСПРАВА



же месяц длится приступ города.

Узембе решил сломать Тмутаракань жаждой, приказал перекопать трубы на предградьи между торжищем и пристанью. Половецкий толмач кричал под стенами:

— Перестоим, пока все не издохнете! Сдавайтесь на милость!

В городе начали рыть колодцы, но вода в них была горько-соленой, непригодной. У Золотых ворот появились половцы с шапками, вздетыми на копы, лживо вещали:

— Послы кагана, мир!

Но им никто не верил, ворота не открыли. Тогда половцы, окружив себя пленными, начали таранить ворота окованным бревном. Их отогнали стрелами и варом.

А жажда в городе сушила губы, мутила разум. Город изнемогал. Молебн не принес дождя, не умерил жару. Казалось, солнце светило так безжалостно, чтобы виднее были кровь, раны, гибель от железа и безводья.

Бояре поставили дружинников для охраны запасов воды. У Храпа в подвале воды на месяцы. На княжьем дворе — и того боле: каменные колодцы. Мизинным же воям выдавали на день по четыре глотка.

Умер мастер Каллистрат. Ивашка принес ему немного своей воды, но было уже поздно.

Весь день выли от жажды собаки.

Настаська вовсе освиrepела, ей то и дело мерещилось, что слуги тайно пьют воду в подвалах. Она выгнала их всех из дому, оставила только самую смиpную — Анну да еще девку Малефу.

Анна жила в великой тревоге: «Как там брат, как Глеб? Не случилась ли беда?» О себе она не думала.

Только однажды душной ночью почему-то приснился Киев в рождественские святки, выскочила она тогда из землянки, лентой повязала кол в плетне. А утром разглядела: кол оказался с корой — значит, будет жених богатый.

Вспоминая позже сон и эти детские забавы, усмехнулась горько: «Так и не нашла свою одолень-траву».

Анна положила на колени сарафан боярыни — расшивала его в талии, — задумалась. Мысль неизменно возвращалась к Ивашке, Глебушке. Может, они погибли, а она здесь сидит с этим проклятым сарафаном.

Раздался крик Настаськи:

— Анна, поди в подвал, принеси кувшин с водой, да гляди не разлей...

...На дворе вечерело. Спустившись в подвал, Анна при свете плошки набрала в кушин воду из чана. В подвале было прохладно, слабо пахло виноградным соком.

Настаська забеспокоилась. Уж не лакает ли девка влагу бесценную?

Стала спускаться по лестнице в подвал: «Выгонию проклятую тихоню, если что замечу».

Анна подняла уже кувшин из чана, когда услышала крик над ухом:

— Ты что здесь медлишь?

Анна обомлела, кувшин вывалился у нее из рук на каменный пол.

Настаська пришла в неистовое бешенство. Схватив подвернувшуюся под руку железную скобу, она с криком: «Ах ты, тварь!» — что есть силы ударила девушку по голове.

— Подымись, мерзавка, не притворяйся! — продолжая стоять над ней со скобой, закричала Настаська.

Анна неподвижно лежала, струйка крови текла из ее головы.

— Неужто прибила? — Настаська пнула ее ногой. — Слышь, будет притворяться!..

Настаське стало не по себе. Хорошо, что хоть никто не видел. Она потерла тряпкой кровь на плитах, оттащила в сторону Анну, прикрыла рогожей. «Ночью в саду закопаю, — лихорадочно думала она, — а Манефе скажу: «Сбежала девка».

* * *

Манефу мучила жажда. В поисках глотка воды прокралась она вечером в подвал. Трясаясь от страха, что застанет ее здесь Настаська, оглядела темные, мрачные углы. Слабый свет плашки сгущал тени, и Манефе казалось: нечистая сила притаилась за чаном.

Вдруг она услышала тихий стон и похолодела от ужаса, ноги прилипли к полу.

Стон повторился, он был жалкий, детский, и Манефа, подумав: «Может, котенок?» — пересилила себя, подошла к рогоже, приподняла край ее.

Анна открыла глаза. Лицо ее бледнее мела, кровь спеклась на голове комом.

— Ты что? — шепотом спросила Манефа.

— Настаська... убила...

— Ах, подлая! — вскрикнула Манефа и куда только страх ее девался. Засуетилась, разорвала нижнюю рубашку свою, перевязала Анне голову. — Полежи, позже за тобой приду.

— Боязно мне, — всхлипнула Анна. — Добьет она...

— Подожди, погляжу, что убивица делает... — сказала Манефа и выскользнула из подвала.

Настаська в горнице перед круглым бронзовым зеркалом протирала лицо душистым маслом.

Манефа возвратилась к Анне.

— Ты стоять можешь?

Анна поднялась, голова кружилась, ноги были будто не ее.

— Обопрись о мое плечо,— предложила Манефа,— я тебя в дальней клетке, в подполье спрячу... А завтра к брату твоему и Глебке сбегая...

* * *

В тот же вечер на город упал благодатный ливень. Он шел от моря спасительной стеной, хлестал весело, наотмашь.

Тмутараканцы в облепившей тело мокрой одежде открывали иссохшие рты, набирали влагу в ладони, подставляли посудины.

Потоки побежали по мостовой, канавам, проложенным вдоль ее, заполняли колодцы. Струи барабанили по крышам, пузырились в лужах на площадях.

А наутро вои со стен увидели — половцы ушли.

Так после бури вдруг очищается небо, и трудно представить, что только-только клубились мрачные тучи, раскаты грома сотрясали землю. Снова безмятежна синева неба, ласков залив...

Половцы ушли, оставив лишь прибитые ливнем пепелища да трупы во рву и на Подоле.

...Еще ночью прискакал к Узембе, в его шатер на кургане «Орлова могила», гонец от великого кагана. Атрак приказывал снять осаду Тмутаракани, немедля спешить к Дону — сюда, объединив свои силы, шли русичи.

* * *

Ночью Настаська, не обнаружив в подвале Анны, подумала с тревогой: «Уползла, гадина». Мужу решила сказать, что девка сбежала... Фряг заезжий к ним, мол, заходил... Сморчок востроглазый... Вот с ним и сбежала... Сколь ни корми холопку, а она все на сторону глядит...

Трапезовать Настаська вышла оплывшая, сонная, накричала на Манефу:

— Дрыхнешь! Анка-то сбежала невесть куда. Теперь и не сыщешь ее. Поди харч отнеси мужу... Да, гляди, если кроху тронешь — головы не снести!

На улице Манефа услышала радостную весть: «Половцы ушли!»

Боярина Седегу она не разыскала, тот был уже на княжьем дворе. Манефа побежала к землянке Ивашки.

...Звонили в буйной радости колокола тмутараканских церквей. Пономари сплели их голоса над городом, возвещая спасенье. Услышав этот колокольный хор, вздыхали с облегчением люди в Корчеве и морях, во всех владеньях Тмутаракани. Обнимались незнакомые на улицах, оплакивали погибших женки. На княжьем дворе Вячеслав щедро одарял дружинников золотыми гривнами. В соборе поминали тех, кто, храбрствуя, скончался от многих ран, кто бился, не имея страха. Архиепископ Арсений, возвещая о чудном освобождении града, возносил благодаренье богу.

Пробежали по вдруг ожившим торгам глашатаи с криком:

— Княжий приказ: всем невоям сдать оружие! Княжий приказ!

МЕСТЬ

Ивашку и Глеба Манефа застала в землянке. Они только что пришли со стены, сложили оружие в углу, чистили рыбу, и чешуя облепила их лица. Увидя расстроенную, взволнованную девушку, Ивашка бросился к ней:

— Что случилось?

Манефа, всхлипывая, все рассказала. На бледном лице Глеба проступили желтые пятна. Ивашка сжал нож.

— Ну, погоди, кровопивца!

Они условились, что в полночь Манефа приведет Анну к дальнему лазу в Седеговом саду, возле густых кустарников и вишни.

Когда Манефа ушла, они долго сидели молча. «Неужто кровью истекла,— с отчаяньем думал Глеб,— и никогда не услышу более ее тонкий голос, и светлые косы истлеют в земле, а черви источат тело?»

Ивашка словно окаменел. Ему стало бы легче, если бы смог заплакать. Но все внутри будто выжгло огнем, опустошило, и лишь рваные мысли еще продолжали терзать мозг: «Отца они так же... Как дальше жить, для чего жить? Нашла сестренка свою одолень-траву...»

Ветер рвал крыши с домов, когда они вышли из землянки.

Месяц силился и не мог вынырнуть из водоворота туч. Неохотно били в колотушки сторожа, для каждого часа начинали новую песню, подавая знак — далеко ли до полуночи.

Мрачной громадой высился над городом божий дом — собор.

Ивашка до боли в пальцах стиснул рукоять короткого меча у пояса, плотнее прижал к груди горшок с тлеющей паклей.

Они с Глебом миновали несколько улиц, длинный забор Седеговых хором. У оврага протиснулись в лаз — им и прежде пользовался Ивашка, — очутились в саду.

Сад шумел под порывами ветра, будто остерегал. Глухо бились оземь сорванные ветром плоды.

Над кустами поднялась голова Манефы.

— Здесь мы, — прошептала девушка.

Анна обессиленно припала к груди брата.

— Плохо тебе? — спросил он.

— Теперь хорошо... — едва слышно ответила сестра.

Глеб взял в свою руку ее — тонкую и слабую.

— Совсем хорошо, — так же тихо сказала Анна.

— Спасибо тебе, сестрена, — повернулся Ивашка к Манефе, — в эту ночь ты в хоромах не спи, — сказал он непонятно.

Уже за лазом Ивашка взял на руки Анну и понес ее.

На повороте улицы хрипло попросил Глеба:

— Отнеси ее... Я скоро...

— Может, вместе отнесем, а потом возвратимся?..

— Нет, я сам.— Он передал Глебу на руки сестру, взял у него небольшой кувшин с нефтью и горшок с жаром.

Глеб с ношей своей исчез, а Ивашка вернулся к лазу.

Прижимаясь к тополиным стволам, стал приближаться к хоромам Седеги.

На Серебряной улице, у ворот, ходил страж, позванивая доспехами. Бодря себя, мурлыкал: «Поздно, спать пора». Делал еще несколько шагов — и снова: «Поздно, спать пора».

Ивашка подполз к подклетьям, облил нефтью деревянные подпоры, раздув жар, поднес его. Порыв ветра, словно предлагая свою помощь, усилил огонь, и тот весело побежал кровавыми струйками вверх.

Ивашка вернулся тем же лазом и неторопливо пошел узким проулком к берегу.

Застрекотала спросонья красноногая морская сорока. На берегу он оглянулся. Над Седеговым двором, над всей Серебряной улицей стояло багровое зарево. Звонил пожарный набат.

* * *

— В граде этом нет мочи быть,— сказал Ивашка, возвращаясь в землянку, где Анна прикорнула на лежанке.— Пойдешь с нами в Киев, Глеб?

Тот поглядел недоумевая:

— А куда же мне без вас деться?

И верно отец говорил: конь узнается при горе, а друг — при беде. «Может, в Ирпень подамся али в Переяслав. Сбыславу сыщу»,— подумал Ивашка, вслух же сказал:

— Пойду к валуну, с морем попрощаюсь.

Светало. Ветер улегся, и залив стал нежно-розовым. Медленно входил в него заморский корабль, резал носом водную гладь. Вода серебристыми струями стекала с весел.

Вдали показалась затопленная пещера. «Верно, неспроста говорят, что люд здесь погиб»,— подумал Ивашка.

Возле моря он долго сидел у валуна. Море было черным, не приветливым, катило бесконечные валы. Ему безразлично бы-

ло и то, что лежит в землянке обессиленная Анна, и то, что покидают они Тмутаракань. У него были свои тайны, пагубы и заботы.

БРОДЫ... БРОДЫ...



и возвратился в город к полудню. Раздували меха у ручных горнов кузнецы. Звенели наковальни. На Торгу пахло кожей и влажной травой. Разложили товары купцы, невозмутимо перебирали четки, будто не было осады, безводья, гибели.

Ивашка потолкался на Торгу. Здесь только и речи что о ночном пожаре.

— Пол-улицы, почитай, сгорело...

— Женка Седеги с перепуга в подвал забилась, живьем изжарилась.

— Ну, эту бог неспроста наказал, сущей ведьмой была...

— Чужое добро впрок нейдет.

— Пожар к Чеканному двору подступил, тут его и умалили.

— Пустить бы петуха на все хоромы...

— Ну ты, цыц, не то в княжий поруб поволокут...

Ивашка с Глебом собрали торбы. Поддерживая Анну, пошли к Золотым воротам. Они были сейчас распахнуты, решетки подняты. Усатый пожилой страж ощупал подозрительными глазами.

— Куда идете?

— На пепелище,— жалобным голосом сказал Глеб.— Может, кто из сродичей в ямах али камышах попрятался...

Страж крикнул:

— Одни головешки на том Подоле... — Покосившись на перевязанное ухо Ивашки, спросил: — Оружье-то сдали?

Глеб с Ивашкой укутали в ветошь, спрятали в торбе накопечники копий,— стрелы и тетиву, но сейчас Глеб поспешно ответил:

— Еще вчерась!

Страж не стал обыскивать.

— Ну, проходите, искальцы,— сострадательно разрешил он и закричал помощнику, увидя въезжающие возы: — Проезжай!

* * *

Им долго глядели вслед купола собора, самодовольно румянились на закате, величаво возвышались, чуждо провожая беглецов холодными глазами.

И Сурожское море взидало равнодушно. Казалось, его припорошило коричневатой пылью, только местами пролегали темно-синие, слегка тронутые закатом, короткие дороги...

«Вот и стала нам Тмутаракань землей знакомой»,— с горечью подумал Ивашка.

...И опять долгий путь, гряда курганов, непроходимые места, броды, броды... Сколько с отцом их осиливал, сколько еще переходить?

От Ставра теперь и вовсе ничего не осталось. Только головешки пожарищ, да воронье на человеческих костях, да коршуны, терзающие околевшего коня... Пустынь! Хотя нет, вон копошатся люди на пепелище, потюкивает домашне топор.

И опять сожженные виноградники, вытоптанные поля.

Остановились переночевать на развалинах боярской вотчины. Ивашка подумал: «Хоть одна польза от половцев: пауки паука сожрали».

В следующие дни пошли низкие горы, схожие с валунами, а дальше — дикое поле, степные озера, отливающие небом, голубой разлив незабудок в лугах, березовые белые поймы.

Облитую лунным светом степь таинственно ограждал темный лес.

Длинные переходы были не под силу Анне. Временами ее поочередно несли на руках брат и Глебка, делая частые привалы. Анна, доверчиво положив худенькие пальцы на плечо Глебки, спрашивала:

— Тяжко тебе?

Глебка только усмехался — тяжесть! Да он готов нести ее на край света, только бы вот так лежала Аннина рука на плече.

Ивашка как-то сказал:

— Вес-то в тебе воробьиный...

Анна засмеялась, как прежде, щеки ее порозовели, глаза снова сияли лучисто.

...Уже какой день идут они Залозным путем, ловят раков в лиманах, стреляют перепелов, в редких селеньях им давали кусок хлеба.

В одном из таких селений их настигла радостная весть — древний дед-вещун прошамкал:

— Наши-то половцев на Дону остановили... Показал каган спину, побежал, боя не приняв.

...Сейчас путь шел мимо глухого пруда в окруженье ракит и вязов. Звонкие кобчики сидели на иссохшей вершине дерева на бугре. Стояло тихое, еще не остывшее от дневной жары предвечерье. Краснолобый дятел, казалось, старательно делал из ствола долбленку.

Глеб незаметно поглядел на друга. Круглые карие глаза его стали глубже, взгляд их — сосредоточенней, жестче. Впадинки в уголках губ утратили мягкость, отвердели, лицо возмужало.

Глеб уже давно и добровольно признал за Ивашкой старшинство, и было оно ему не в тягость. Понимал, что тот бесстрашнее, и гордился этой дружбой.

Из камышей вышли двое оборвышей, настороженно поглядели на Ивашку и Глеба с его ношей, словно решая: скрыться ли снова или пойти навстречу?

Наконец один из оборвышей, коренастый, большеголовый, подошел ближе.

— Добrivечер,—произнес он скороговоркой и располагающе улыбнулся, широко открыв рот без двух передних зубов.

— Добrivечер,—ответил Ивашка.

Подошел и второй — длинный, жилистый.

Глебка осторожно поставил наземь Анну, загоразивая ее собой, придвинулся ближе к Ивашке.

Коренастый сказал успокаивающе:

— Да вы не пугайтесь...

— Мы не из пугливых, — прищурился Ивашка.

— Костька я, — назвал себя коренастый. Ему было немногим более двадцати, у него живые, бесхитростные глаза. — А это — брательник мой по несчастью, — кивнул Костька в сторону жилистого. — Савка. По летам мы ровня с вами, да и судьбины, верно, одной...

Они познакомились, сели под деревом у пруда. Суматошились крикливые камышовые воробьи.

— С Чернигова сбегли, — доверительно зачастил Костька, ловко сплюнув через отверстие в зубах. — У нас там шакал... Оря. Хоромы себе строить задумал. А мы — плотники. Вот и впряг, как волов, хребет ломать за похлебку. Да еще лается. Я ему: «Криком изба не рубится». А тут еще Савка подпел: «Вскачь не напашешься». Он на нас — с плетью, приказал в поруб, для науки, бросить.

— Жилы рвать на живоглота кому радость! — мрачно подтвердил Савка.

— Думаем, на Тмутаракань податься, слышали, там житье вольное, — словно советуясь, поглядел Костька.

Ивашка зло усмехнулся. Вспомнил, как отец когда-то вот так же советовался с Колашем.

— Послушайте про то сладкое, вольное житье...

Когда он закончил свой рассказ, Костька почесал затылок.

— Выходит, делать нам и там неча... — Повернулся к Савке: — Давай, брательник, вот с ими в Киев оглобли поворачивать? — Снова лихо сплюнул. — Может, киевские бояре нам блины запасли?

Савка, все время что-либо жевавший — корку хлеба, тростинку, кислицу с диких яблонь, корешок, вырытый из земли, — согласился:

— Давай...

— Теперь нас, считай, сила. Савку прокормим, — весело подмигнул Костька, — а то он вчера сказал: «В поле и жук — мясо».

И залился смехом. Сам-то он мог сутками не есть и даже не вспоминать о еде. Не раз удивлялся себе: «Или у меня за шкурой жира склады?» А Савка, сколь ни жует, никак мослы не прикроет.

* * *

В середине сентября, в полдень, они подошли к знакомому Ивашке и Анне берегу Дона, напротив островка. Стояла густая тишина. Кружили стрекозы над камышом. Из него тогда прыгнул на Анну кот.

Возле берега кулик, словно бы с белой повязкой под глазами, в красной окоемке бровей, долбил желтым клювом улитку.

На острове с пожухлой травой, привялыми листьями деревьев, пряталась давняя их хижка, первый приют на Дону.

Казалось, с того времени, как покинули они ее, прошло несколько жизней. Ивашка тяжело вздохнул, глаза его потемнели. Глеб посмотрел с тревогой на друга.

— Здесь мы с батусем осели, — кивнул Ивашка на остров. — Половцы спугнули... Может, и в живых остался, если бы не та проклятая Тмутаракань.

Савка уже успел откопать корень — жевал. Присмиривший Костька сказал:

— Кабы знать, где твой край...

Анна заплакала, вытирая слезы, как в детстве, кулаками. Глеб кончиками пальцев прикоснулся к ее косе, словно успокаивая и деля горе.

На острове показался человек, и еще один, и еще... Приставив ладони к глазам, они вглядывались в пришельцев.

Потом один из них исчез в камышах и вскоре выгнал оттуда долбленку. В нее сели четверо, не страшась, стали пересекать Дон. Сидевший на носу держал лук наизготове.

Долбленка мягко ткнулась носом в берег, и из нее выпрыгнул обросший пепельными волосами мужчина.

— Дядь Колаш! — как тогда, на киевском торгу, вскрикнул Ивашка, шагнул к мужчине.

Они обнялись. Колаш поглядел на осунувшееся лицо Анны.

— Аль болела?

Узнав о ее бедах, ласково провел грубой рукой по волосам Анны.

— Сбыслава те обрадуется...

— Здесь она?! — радостно встрепелась Анна.

У Ивашки гулко заколотилось сердце.

— Здесь...

— Я вот тоже в бегах да бродах,— грустно сказал Колаш.— В устье Медведицы был, на Хопре... А потом вспомнил— ты сказывал про это место... А то, может, останетесь вовсе с нами? Близ князя — близ смерти... У нас тут община... С вами будет двадцать семь беглых... Вот это,— он кивнул на кудрявого, с нательным крестом на груди,— Степка Донец, а рядом,— Колаш перевел глаза на человека с одним глазом и горбатым носом,— Андришка Косой, и еще,— положил руку на плечо синеглазого юноши лет семнадцати,— Сидор Голодай. Ну что, беглецы, примем в общину?

Он обвел своих товарищей темными глазами.

Степка Донец сказал глухим, надтреснутым голосом:

— Как скажешь, вожак...

Костька подтолкнул локтем Ивашку.

— На миру веселей! — И, повернувшись к Колашу, пообещал: — Понастроим вам изб в достатке. Плотники мы.

Колаш скупо улыбнулся.

— А то мы ноне как кроты в земле... Будем заедин. Нам если не съединяться — все сгинем...

Ивашке привиделось: их двор на Подоле... Лежит он рядом с отцом на рядне под вязом... Голубеют звезды над головой... А глуховатый голос отца проникает в душу: «Пуще всего товарство цените...»

Ивашка спросил глазами у Глеба: «Останемся?» — и тот согласно кивнул головой.

...Колаш с Ивашкой, Глебом, Анной и Костькой подплыли к острову. «Вот здесь хижка наша была... А здесь мы с батусем...»

Колаш, отправив долбленку за остальными, сказал:

— Айда за мной...

Повел их в чащобу. Сушились сети, стояли бортни. На де-
лянке, меж деревьев, обнаженный до пояса человек с сильными
руками и волосатой грудью вырубал крапиву-жигалку, раски-
дистые кусты белоголового катрана. Еще два человека самодель-
ными мотыгами рыхлили землю. Колаш остановился возле по-
луобнаженного человека.

— Прймай, Третьяк, пополнение...— сказал он весело.

— То добре,— разогнулся Третьяк, отирая ладонь пот со
лба.

Увидев у Ивашки и Глеба луки, одобрил:

— Нам такие надобны...

Костька с ходу предложил:

— А давай и я подмогну.

Глеб тоже начал снимать рубашку.

— Привыкайте,— сказал Колаш,— а мы пока полдник вам
сготовим. Айда за мной, бовкунята.

Они подошли к землянке с камышовой крышей. В темном
проеме показалась девушка.

Ивашка не сразу узнал Сбыславу. От прежней девчонки
остались разве только быстрые глаза, но уже смиренные горде-
ливостью. Волосы ее потемнели, тугой косой спадали до тон-
кого стана. На матовой щеке вспыхнул серпик да так и остался,
забыв погаснуть.

Колаш добро посмотрел на дочку.

— Аль не узнаешь старого знакомого?

Нет, она его узнала мгновенно, потому что все эти годы
вспоминала неулыбчивого отрока, которому озорно подмигива-
ла, рассказывая его сестре о травах.

Но сейчас это был какой-то совсем другой человек: стат-
ный, с ржаными усами на загорелом лице, с глазами темными,
как Ирпеньское озеро. Кто же это ему, бедненькому, ухо по-
вредил? Надо будет траву положить, что рубец снимает.

— Узнала! -- певучим, новым для Ивашки голосом, от
которого замерло у него сердце и упало, произнесла де-
вушка.

Ему бы броситься к ней, крикнуть: «Сколько ждал, а дождался!» — но он только улыбнулся сдержанно.

Из-за его спины выступила Анна.

— Сестрена! — вскрикнула Сбыслава и бросилась целовать Анну.

— Похлебка-то у тебя готова, хозяйка? — спросил Колаш дочь, когда она с трудом оторвалась от Анны.

— Готова...

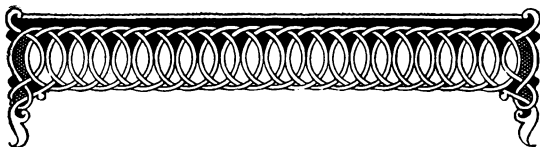
Девушка взяла за руку Анну, и они исчезли в землянке.

Где-то рядом тихий женский голос запел:

То не зверя два собиралися,
Не два лютые собиралися,
Это кривда с правдой сходилися,
Промеж себя они билися...

— Жёнка Третьяка, Улька, поет. У нас здесь три семьи, — сказал Колаш. — Ну, Ивашка, сын Евсея, ходи ко мне в избу...





ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. соляной шлях

| | |
|---|----|
| Трудное решение | 7 |
| Брат и сестра | 10 |
| Соседи | 14 |
| Первая валка | 19 |
| Тайный заказ | 29 |
| Стежка в океане трав | 31 |
| Беды | 36 |
| Рушниковый кут | 43 |
| У соляных озер | 47 |
| Возвращение | 50 |
| Праздник Анфима | 56 |
| Смерть Святополка | 58 |
| Гнев праведный | 62 |
| Владимир Мономах принимает гонцов | 68 |
| Шапка Мономаха | 73 |
| На поиски лучшей доли | 81 |

Часть вторая. ГРАД ЗА ЛУКОМОРЬЕМ

| | |
|------------------------------|-----|
| К Дону! | 87 |
| Новоселы | 92 |
| Одолень-трава | 95 |
| Половецкие сторожи | 97 |
| Град на краю земли | 102 |
| Порт великий | 108 |
| Чеканный двор | 115 |
| Смертный приговор | 125 |
| Тайная пещера | 128 |
| Сиротство | 132 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Валун на косе | 139 |
| Здравствуй, Киев! | 142 |
| Тмутараканское сидение | 150 |
| Настаськина расправа | 160 |
| Мечь | 164 |
| Броды... броды... | 167 |

Для среднего возраста

Борис Васильевич Изюмский

В ПОИСКАХ ДОЛИ

Ответственный редактор *С. М. Пономарева*. Художественный редактор *Н. Г. Холодовская*. Технический редактор *Г. В. Лазарева*. Корректоры *Н. Е. Кошелева* и *З. С. Ульянова*.

Сдано в набор 13/VII 1973 г. Подписано к печати 17/X 1973 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 2. Печ. л. 11. Усл. печ. л. 10,23. Уч.-изд. л. 8,84. Тираж 75 000 экз. А03126. Заказ № 1113.

Цена 39 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Ростлавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Изюмский Б. В.

И 39 В поисках доли. Повесть. Рис. Л. Фалина. М., «Дет. лит.», 1973.

176 с. с ил.

Историческая повесть *В. В. Изюмского* «В поисках доли» переносит читателя в XII век. Книга рассказывает о походе посадского человека *Евсеев Бовкуна* за сслью из Киева через дикие половецкие степи, о тяжелой судьбе русских людей, поднимававшихся на борьбу за лучшую жизнь.

